



ЕЩЕ ОДИН ШЕДЕВР УЭЛЬБЕКА.
ЕЩЕ ОДИН ПОТРСАЮЩИЙ РОМАН.

Бернар Марис,
Charlie Hebdo, 07.01.2015

МИШЕЛЬ УЭЛЬБЕК
Покорность

[roman]

CoRpus

18+

Annotation

Блестящий и непредсказуемый Мишель Уэльбек – один из самых знаменитых писателей планеты, автор мировых бестселлеров “Элементарные частицы”, “Платформа”, “Возможность острова”, “Карта и территория” (Гонкуровская премия 2010 года). Его новый роман “Покорность” по роковому совпадению попал на прилавки в день кровавого теракта в журнале “Шарли Эбдо”, посвятившем номер выходу этой книги. “Покорность” повествует о крахе в недалеком будущем современной политической системы Франции. Сам Уэльбек определил жанр своего романа как “политическую фантастику”. Действие разворачивается в 2022 году. К власти демократическим путем приходит президент-мусульманин, страна начинает на глазах меняться. Одиноким интеллектуал по имени Франсуа, поглощенный наукой, университетскими интригами и поиском временных подруг, неожиданно обнаруживает, что его мир рушится, как карточный домик.

- [Мишель Уэльбек](#)
 -
 - [Часть первая](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [Часть третья](#)
 - [Часть четвертая](#)
 - [Часть пятая](#)
 - [Слова благодарности](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)

- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)



Мишель Уэльбек
Покорность

Видит бог, я люблю Хаксли и Оруэлла, но как романист Уэльбек мощнее их. Будущее, весьма вероятно, окажется не таким, каким его рисуют “Элементарные частицы”, “Возможность острова” и теперь “Покорность”. Но если есть сегодня писатель, способный осмыслить назревающую в мире грандиозную трансформацию, которую все мы ощущаем, но не можем проанализировать, так это Уэльбек.

Эмманюэль Карпер,
Le Monde

Мишель Уэльбек поражает умением уловить и передать атмосферу нашей эпохи, показать тупики и тревоги западного мира. Он создает незабываемую картину, удивительно тонкую и точную.

Télérama

Уэльбек — писатель настоящий. Книга очень сильная, написанная псевдо-нейтральным стилем и пронизанная иронией, не позволяющей угадать истинную позицию автора и определенно сказать, одобряет он происходящее или страшится его.

Libération

MICHEL HOUELLEBECQ



Photo: Philippe Matsas © Flammarion



Новый роман автора мировых бестселлеров “Элементарные частицы”, “Возможность острова”, “Карта и территория” по роковому совпадению вышел из печати в день кровавого теракта в журнале “Шарли Эбдо”. Действие происходит в 2022 году, президентом Франции становится мусульманин, начинается исламизация страны. Молодой ученый по имени Франсуа, занятый наукой и поисками временных подруг, неожиданно обнаруживает, что его мир рушится.

SOUUMISSIO

СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

ЕЩЕ ОДИН ШЕДЕВР УЭЛЬБЕКА.
ЕЩЕ ОДИН ПОТЯСАЮЩИЙ РОМАН.

Бернар Марис,
Charlie Hebdo, 07.01.2015

МИШЕЛЬ УЭЛЬБЕК
Покорность

[roman]

CoRpus

18+

Часть первая

Шум вокруг вернул его в Сен-Сюльпис. Певчие собрались уходить, храм закрывался. Надо было бы попробовать помолиться, подумал Дюрталь, чем так по-пустому мечтать, сидя на стуле, но как молиться? Я вовсе этого не хочу; я заморожен католичеством, его запахом воска и ладана; я брожу вокруг него, тронутый до слез его молитвами, проникнутый до мозга костей его причитаниями и песнопениями. Мне совершенно опротивела моя жизнь, я очень устал от себя, но отсюда еще так далеко до другой жизни! И пожалуй, вот еще что: в храме я взволнован, но, выйдя из него, сразу становлюсь холоден и сух. “В сущности, – заключил он, следуя к дверям вместе с последними посетителями, которых подгонял служка, – в сущности, мое сердце задубело и закоптилось в разгуле. Ни на что я уже не годен”.

Ж.-К. Гюисманс *На пути*^[1]

В течение долгих лет моей невеселой юности Гюисманс оставался моим спутником и верным другом; я ни разу не усомнился в нем, ни разу не возникло у меня желания расстаться с ним или выбрать себе другую тему; так что в один прекрасный июньский день 2007 года, после всяческих проволочек, нарушив все мыслимые и немыслимые сроки, я защитил в университете Сорбонна – Париж-IV^[2] диссертацию “Жорис-Карл Гюисманс, или Выход из тупика”. На следующее же утро (а может быть, и в тот же вечер, не поручусь, потому что вечером после защиты я напился в полном одиночестве) мне стало ясно, что завершилась определенная часть моей жизни и, скорее всего, лучшая ее часть.

В таком положении оказываются в нашем обществе, пока еще западном и социал-демократическом, все, кто заканчивает свое обучение, хотя многие и не осознают этого, по крайней мере не сразу, одержимые жаждой заработка или, возможно, потребления – в случае самых примитивных особей, попавших в острую зависимость от ряда товаров (но таких все же меньшинство, а люди более солидные и вдумчивые

заболевают простейшей формой помешательства на деньгах, этом “неутомимом Протее”), но в еще большей степени они одержимы желанием проявить себя, заполучить место под солнцем в мире, основанном, как они полагают и надеются, на соревновательном принципе, к тому же их раззадоривают всякого рода идола, будь то спортсмены, модные дизайнеры, создатели веб-сайтов, актеры или топ-модели.

По разным причинам психологического свойства, анализировать которые у меня нет ни достаточной компетентности, ни желания, я не вписался в рамки общей схемы. Первого апреля 1866 года восемнадцатилетний Жорис-Карл Гюисманс начал свою профессиональную деятельность в должности служащего шестой категории в министерстве внутренних дел и религий. В 1874 году он издал за свой счет “Вазу с пряностями”, первый сборник стихов в прозе, практически не замеченный критикой, если не считать весьма дружелюбной статьи Теодора де Банвиля. Так что его первые шаги в этом мире, как мы видим, особого фурора не произвели.

Так и прошла его служебная жизнь и жизнь вообще. Третьего сентября 1893 года он был награжден орденом Почетного легиона за заслуги на государственной службе. В 1898-м вышел на пенсию, имея за плечами – с учетом отпусков по семейным обстоятельствам – тридцать лет положенного трудового стажа. За это время он умудрился написать ряд книг, побудивших меня более чем столетие спустя считать его близким другом. О литературе было написано много, может быть, даже слишком много (уж я-то, будучи преподавателем университета и специалистом в этой области, знаю, о чем говорю). Особенность литературы, одного из *главных искусств* той западной цивилизации, которая на наших глазах завершает свое существование, не так уж и трудно сформулировать. Музыка, в той же степени, что и литература, может вызвать потрясение, эмоциональную встряску, безграничную печаль или восторг. Живопись, в той же степени, что и литература, может дать повод для восхищения и предложить по-иному взглянуть на мир. Но только литературе подвластно пробудить в нас чувство близости с другим человеческим разумом в его полном объеме, с его слабостями и величием, ограниченностью, суетностью, навязчивыми идеями и верованиями; со всем, что тревожит, интересуется, будоражит и отвращает его. Только литература позволяет самым непосредственным образом установить связь с разумом умершего, даже более исчерпывающую и глубокую, чем та, что может возникнуть в разговоре с другом; какой бы крепкой и проверенной временем ни была дружба, мы не позволяем себе раскрываться в разговоре так же безоглядно,

как сидя перед чистым листом бумаги и обращаясь к неизвестному адресату. Разумеется, когда речь идет о литературе, имеют значение красота стиля и музыкальность фраз; не следует также пренебрегать глубиной авторской мысли и оригинальностью его суждений; но автор – это прежде всего человек, присутствующий в своих книгах, и в конечном счете не так уж и важно, хорошо или плохо он пишет, главное – чтобы писал и действительно присутствовал в своих книгах (странно, что такое простое и вроде бы элементарное условие оказывается в реальности слишком сложным и что этот очевидный и легко поддающийся наблюдению факт был так мало использован философами всех мастей; дело, однако, в том, что люди, в принципе, обладают, за исключением качества, равным количеством бытия, и, в принципе, все они в равной мере так или иначе *присутствуют*; однако по прошествии нескольких столетий впечатление складывается совершенно иное, и чаще всего с каждой новой страницей, явно продиктованной в большей степени духом времени, нежели собственно личностью пишущего, тает на наших глазах туманный субъект, все более призрачный и безликий). Точно так же, если книга нравится, это значит, по сути, что нам нравится ее автор, к нему хочется все время возвращаться и проводить с ним целые дни напролет. Все семь лет, отданные диссертации, я прожил в обществе Гюисманса, в его практически постоянном присутствии. Гюисманс родился на улице Сегюр, жил на улице Севр и улице Месье, умер на улице Сен-Пласид, а похоронили его на кладбище Монпарнас. Таким образом, почти вся его жизнь протекала в пределах шестого округа Парижа – а профессиональная жизнь в течение тридцати с лишним лет протекала в кабинетах министерства внутренних дел и религий. Я тоже жил тогда в шестом округе, в холодной и сырой, а главное, совершенно темной комнате – окна выходили в крохотный дворик, больше напоминавший колодец, так что мне приходилось зажигать свет с самого утра. Я страдал от бедности и, если бы мне пришлось отвечать на один из многочисленных опросов, сочинители которых периодически пытаются выяснить, “чем дышит молодежь”, я бы наверняка определил условия своей жизни как “скорее тяжелые”. Однако наутро после защиты (а может быть и в тот же вечер) первой моей мыслью было, что я утратил нечто бесценное, нечто, что я уже никогда не верну: свою свободу. В течение нескольких лет, благодаря жалким остаткам агонизирующей социал-демократии (спасибо стипендии, разветвленной системе скидок и социальных льгот, а также весьма посредственным, зато дешевым обедам в университетской столовке), мне удавалось посвящать все свое время занятию, которое я выбрал себе сам, – свободному интеллектуальному

общению с другом. Как справедливо заметил Андре Бретон, юмор Гюисманса – уникальный случай щедрого юмора, он дает читателю фору, как бы приглашая его первым посмеяться над автором и его чрезмерным пристрастием к жалостливым, ужасным или нелепым сценам. Я, как никто другой, воспользовался этой щедростью, когда, получая очередные порции тертого сельдерея и трески с картофельным пюре, разложенные по ячейкам металлических подносов больничного вида, любезно предоставленных студенческим рестораном “Бюлье” своим несчастным завсегдатаям (которым больше некуда было податься – их, скорее всего, уже давно выперли из всех приемлемых университетских ресторанов, но терпели здесь, поскольку они все-таки являлись обладателями студенческого билета), вспоминал гюисмансовские эпитеты, его *унылый* сыр и *зловещую* камбалу и, воображая, как бы он оттянулся на этих тюремных металлических подносах, доведись ему их увидеть, чувствовал себя чуть менее несчастным и чуть менее одиноким в университетском ресторане “Бюлье”.

Но все это осталось в прошлом; и вообще в прошлом осталась моя молодость. В ближайшее время (и видимо, уже совсем скоро) мне предстояло заняться своим трудоустройством. И никакой радости от этого я не испытывал.

Образование, полученное на филологическом факультете университета, как известно, практически не имеет применения, и разве что самые талантливые выпускники могут рассчитывать на карьеру преподавателя на филологическом факультете университета – ситуация, прямо скажем, курьезная, так как эта система не имеет никакой иной цели, кроме самовоспроизводства, при объеме потерь, превышающем 95 %. Впрочем, образование это не только не вредное, но может даже принести какую-никакую побочную пользу. Девушка, желающая получить место продавщицы в бутике *Celine* или *Hermes*, должна, разумеется, для начала позаботиться о своем внешнем виде, но диплом лицензиата или магистра по современной литературе может стать дополнительным козырем, гарантирующим нанимателю, за неимением годных в употребление познаний, определенную интеллектуальную сноровку, предвещающую карьерный рост, поскольку литература, кроме всего прочего, издавна имеет позитивную коннотацию в индустрии люкса.

Я со своей стороны вполне отдавал себе отчет, что принадлежу к тончайшей прослойке “самых одаренных студентов”. Я знал, что написал хорошую диссертацию и потому рассчитывал на высокую ее оценку; и тем

не менее был приятно удивлен, заслужив в *высшей степени положительные* отзывы оппонентов, не говоря уже о великолепном заключении членов диссертационной комиссии, состоящем практически из одних дифирамбов: теперь у меня были все шансы получить при желании должность доцента. И в общем-то, моя жизнь своей предсказуемой пресностью и монотонностью по-прежнему напоминала жизнь Гюисманса полутора столетиями раньше. Первые годы своей взрослой жизни я провел в Сорбонне; там же, возможно, проведу и последние свои годы, и может быть, даже в том же Париже-IV (на самом деле не совсем так: дипломы мне были выданы в Париже-IV а место я получил в Париже-III, хоть и не столь престижном, зато расположенном в двух шагах, в том же пятом округе).

Я никогда не чувствовал в себе ни малейшего призвания к преподавательской деятельности, и пройденный мною карьерный путь только подтвердил пятнадцатью годами позже это изначальное отсутствие призвания. Частные уроки, которые я давал в надежде улучшить свое материальное положение, довольно быстро убедили меня, что передача знаний чаще всего невозможна, разнородность умов бесконечна, а также что ничто не может не только устранить это глубинное неравенство, но даже, на худой конец, хоть как-то сгладить его. И что еще печальнее, я не любил молодежь, не любил никогда, даже в то время, когда меня еще можно было причислить к ее рядам. Само понятие юности предполагает, как мне кажется, относительно восторженное восприятие жизни либо некое бунтарство, и то и другое сдобренное по меньшей мере смутным чувством превосходства над поколением, которому мы призваны прийти на смену; я лично ничего подобного не испытывал. Вместе с тем в молодости у меня были друзья, точнее говоря, попадались сокурсники, с которыми я готов был без отвращения выпить кофе или пива в перерыве между занятиями. А главное, у меня были любовницы, или, как тогда говорили (а возможно, все еще говорят), *девушки*, – из расчета в среднем по одной в год. Мои романы развивались по более или менее неизменной схеме. Я заводил их в начале учебного года на семинарах, или в процессе обмена конспектами, или в каких-то иных ситуациях, благоприятствующих общению, которыми так богаты студенческие годы и чье исчезновение, непременно сопровождающее вступление в профессиональную жизнь, повергает большую часть индивидов в столь же ошеломляющее, сколь и беспросветное одиночество. Романы эти набирали обороты в течение всего года, ночи мы проводили по очереди друг у друга (в основном, по правде говоря, на их территории, поскольку мрачная, более того, антисанитарная обстановка, царившая в моей комнате, мало подходила для *любовных*

свиданий) и совершали половые акты (льщу себя надеждой, что к взаимному удовлетворению). После летних каникул, то есть в начале нового учебного года, наши отношения заканчивались – почти всегда по инициативе девушек. Летом у них *кое-что произошло*, так, во всяком случае, они объясняли мне, чаще всего ничего не уточняя; те же из них, кто, судя по всему, не очень-то стремились щадить мои чувства, все-таки уточняли, что *встретили одного человека*. Ну допустим, и что из того? Чем я не *один человек*? По прошествии времени простая констатация факта не представляется мне веским аргументом: ну да, они действительно *встретили одного человека*, кто бы спорил; но желание приписать этой встрече достаточную судьбоносность, чтобы прервать наш роман и завести другой, было всего лишь определенным стереотипом любовного поведения – чрезвычайно устойчивым, хотя и бессознательным, причем устойчивым именно в силу бессознательности.

В соответствии с любовным стереотипом, преобладавшим в годы моей юности (а у меня нет никаких причин полагать, что с тех пор он претерпел значительные изменения), считалось, что молодые люди, по истечении недолгого периода полового разброда в подростковые годы, вступают в эксклюзивные любовные отношения с сопутствующей им строгой моногамией, когда к сексуальному досугу добавляется социальный (совместные развлечения, уикенды, каникулы). Что тем не менее вовсе не отменяло временности этих отношений, их следовало рассматривать скорее как некую подготовку, *стажировку*, так сказать (в профессиональном плане ей соответствовала ставшая уже повсеместной обязательная практика перед первым наймом на работу). Любовные связи разной продолжительности (годовой срок в моем случае мог считаться вполне приемлемым) и текучести (в среднем десять – двадцать, незначительная погрешность допускалась) должны были, по идее, сменять одна другую на пути к, скажем так, апофеозу – итоговой связи, имеющей на сей раз матримониальный и окончательный характер и посредством деторождения ведущей к созданию семьи.

Восхитительная пустопорожность этой схемы стала мне очевидна много позже, в сущности, сравнительно недавно, когда с промежутком в несколько недель я случайно пересекся с Орели, а потом с Сандрой (причем, встретить я Хлою или Виолену, вряд ли бы это сильно повлияло на мои умозаключения). Стоило мне войти в баскский ресторан, куда я пригласил Орели поужинать, как я понял, что мне предстоит ужасающий вечер. Несмотря на две бутылки белого “Ирулеги”, выпитые мною практически в одиночку, мне все сложнее было поддерживать на должном

уровне дружескую беседу, ставшую вскоре просто невыносимой. Сам толком не понимаю почему, но я сразу же решил, что было бы не то что неловко, а немисливо предаваться общим воспоминаниям. Что касается настоящего, то Орели явно так и не удалось завязать матримониальных отношений, случайные связи вызывали у нее все возраставшее отвращение, одним словом, ее личная жизнь катилась к полнейшей и неминуемой катастрофе. Хотя она все-таки сделала, по крайней мере, одну попытку – я понял это по некоторым симптомам – и так и не оправилась от поражения, а горечь и язвительность, звучавшие в ее отзывах о коллегах мужского пола (за неимением лучшего, мы заговорили о ее профессиональной жизни – она была пиар-менеджером Межпрофессионального совета по винам бордо, в связи с чем часто ездила в командировки, в том числе в Азию, в рамках рекламной кампании французских вин), с беспощадной очевидностью доказывали, что она *огребла по полной*. К моему изумлению, вылезая из такси, она все-таки пригласила меня “зайти выпить”, ну, совсем дошла до ручки, подумал я, – но в ту минуту, когда дверцы лифта закрылись за нами, я понял, что ничего не будет, у меня даже не возникло желания увидеть ее голой, напротив, я бы предпочел этого избежать, но не тут-то было, и мои предчувствия подтвердились: она *огребла по полной* не только в эмоциональном плане, ее тело тоже подверглось необратимым разрушениям, попа и грудь превратились в участки отощавшей, скукоженной, вялой и обвисшей плоти, так что Орели уже нельзя было и уже никогда нельзя будет рассматривать как предмет вождления.

Наш ужин с Сандрой прошел практически по той же схеме, с поправкой на вариации частного характера (ресторан морепродуктов, должность секретаря-референта в транснациональной фармацевтической корпорации), да и завершился он, в общем и целом, похожим образом, с той лишь разницей, что Сандра, будучи попухлей и повеселей Орели, не показалась мне столь безнадежно заброшенной. Печаль ее была глубока и неизбывна, и я знал, что постепенно она заполнит все ее существо; по сути, она, как и Орели, была *угодившей в мазут птицей*, но сохранила при этом, если можно так выразиться, высшую способность махать крыльями. Через год-два она откажется от каких бы то ни было матримониальных устремлений, но, повинувшись тлеющей пока еще чувственности, *перейдет на мальчиков*, как говорили во времена моей юности, и, превратившись в “женщину-пуму”, продержится на плаву несколько лет, в лучшем случае лет десять, пока увядание плоти, на сей раз необратимое, не обречет ее на полное одиночество.

В двадцать лет, когда у тебя стоит по любому поводу, а иногда и вовсе без причины, когда стоит даже, образно выражаясь, *вхолостую*, я еще мог бы увлечься романом такого рода, более радостным и прибыльным, чем частные уроки, уж в то время, думаю, я бы *не подкачал*, но теперь, понятное дело, об этом не могло быть и речи, поскольку моим редким и ненадежным эрекциям требовались упругие, гибкие и безупречные тела.

В первые несколько лет после назначения на должность доцента в Париже-III в моей половой жизни не намечилось никакого заметного прогресса. Я продолжал из года в год спать со студентками своего факультета – и тот факт, что я был их преподавателем, мало что менял. Разница в возрасте между мной и этими студентками поначалу была, надо сказать, совсем ничтожной, и лишь постепенно появился оттенок запретности, скорее вследствие повышения моего университетского статуса, нежели реального или пусть даже чисто внешнего старения. В сущности, я извлекал максимальную выгоду из исконного неравенства между нами, заключающегося в том, что старение мужчины крайне медленно снижает его эротический потенциал, тогда как у женщин крушение происходит на удивление стремительно, всего за несколько лет, а то и месяцев. Теперь, как правило, я сам прекращал все романы в начале учебного года, и только этим на самом деле мое нынешнее положение и отличалось от студенческих лет. Мое поведение вовсе не было продиктовано каким-то донжуанством или безудержной склонностью к распутству. В отличие от моего коллеги Стива, преподававшего параллельно со мной литературу XIX века на первом и втором курсе, я не бросался в первый же день занятий алчно изучать “новые поступления” первокурсниц (в своей вечной толстовке и кедах *Converse* Стив напоминал мне этим расплывчато-калифорнийским стилем Тьерри Лермитта в “Загорелых”, выходящего из бунгало, чтобы посмотреть на прибывших в клуб свеженьких курортниц). Подружек своих я бросал вообще-то от уныния и усталости: мне просто было уже не под силу продолжать отношения, и я пытался, как мог, обезопасить себя от разочарований и отрезвления. В течение года я мог пересмотреть свое решение под влиянием внешних и весьма анекдотических факторов вроде мини-юбки.

А потом и это прекратилось. Я расстался с Мириам еще в конце сентября, на дворе уже был апрель, учебный год подходил к концу, а я так и не подыскал ей замену. Став профессором, я достиг пика своей академической карьеры, но одно к другому отношения все-таки не имело. Правда, вскоре после разрыва с Мириам, когда я встретился с Орели, а потом с Сандрой, мне открылась некая иная взаимосвязь, тревожная,

малоприятная и дискомфортная. Потому что, время от времени мысленно возвращаясь к этому, я вынужден был признать очевидное: у меня с моими *бывшими девушками* оказалось гораздо больше общего, чем мы думали, и эпизодические совокупления, не вписанные в долгосрочную перспективу совместной жизни, в итоге разочаровывали и их, и меня. В отличие от них, я ни с кем не мог это обсудить, ибо личная жизнь не входит в разряд тем, допустимых в мужском обществе: мужчины охотно говорят о политике, литературе, финансовых рынках и спорте, кому что; но о личной жизни будут хранить молчание до последнего вздоха.

Может быть, старея, я не избежал, скажем так, мужского климакса? Это было не лишено смысла, и я решил для очистки совести потратить свои вечера на *Yourporn*, ставший за эти годы самым посещаемым порносайтом. Результат, более чем обнадеживающий, не заставил себя ждать. *Yourporn* отзывался на фантазмы нормальных мужчин, населяющих нашу планету, и я оказался – что подтвердилось в первые же минуты – самым что ни на есть нормальным мужчиной. Это, в общем, не было так уж очевидно, ведь большую часть жизни я посвятил изучению автора, которого многие считают *декадентом*, в связи с чем тема его сексуальности остается непроясненной. Короче, я поставил себе зачет и успокоился. Ролики попадались то замечательные (снятые профессиональной командой из Лос-Анджелеса, с осветителями, техниками и операторами), то ужасные при всей своей *винтажности* (немецкие дилетанты), но все без исключения следовали нескольким вполне себе приятным сценариям. В одном из самых ходовых мужчина (молодой, старый, существовали обе версии) сдуру позволял своему члену дремать под покровом трусов или шорт. Две молодые женщины – их расовая принадлежность могла меняться, – всерьез озабоченные столь несуразной ситуацией, принимались усердно высвобождать означенный орган из его временного укрытия. В лучших традициях женской солидарности и взаимопонимания они самым восхитительным образом будоражили его, доводя до исступления. Член кочевал изо рта в рот, языки скрещивались, как скрещиваются траектории встревоженных ласточек в темном небе южной части департамента Сена и Марна, когда, пускаясь в зимние странствия, они летят прочь из Европы. Мужчина, ошалевший и вознесенный до небес, мог издавать лишь невнятные возгласы, от чудовищно убогих у французов (“У бя!”, “У бя, щас кончу!” – вот и все, на что оказался способен народ-цареубийца) до куда более благозвучных и бурных у американцев (*Oh My God! Oh Jesus Christ!*) – люди истинно верующие, они словно призывали не пренебрегать дарами божьими (оральным сексом, жареным цыпленком), ну, как бы то ни

было, у меня тоже стоял всю перед монитором 27-дюймового *iMac*, так что грех жаловаться.

С тех пор как я стал профессором, моя преподавательская нагрузка уменьшилась, и мне удалось перенести все свои университетские занятия на среду. Для начала, с восьми до десяти утра, я читал второкурсникам лекции по литературе XIX века – параллельно со мной, в соседней аудитории, Стив читал аналогичный цикл лекций первому курсу. С одиннадцати до трех я рассказывал магистрантам второго года о декадентах и символистах. Затем, с трех до шести, вел семинар, отвечая на вопросы аспирантов.

В начале восьмого утра я с удовольствием садился в метро, упиваясь мимолетной иллюзией принадлежности к “Франции, которая рано встает”, Франции рабочих и ремесленников, но, судя по всему, я был исключением из правила, потому что моя первая лекция проходила в практически пустой аудитории, если не считать компактной кучки китайцев, внимавших мне со звериной серьезностью, – они и между собой-то почти не общались, а уж с посторонними и подавно. Первым делом они включали свои смартфоны, чтобы записать лекцию целиком, что, впрочем, не мешало им конспектировать ее в больших тетрадях формата 21 x 29,7 на спирали. Они никогда не перебивали меня и не задавали вопросов, так что два часа пролетали почти незаметно; мне казалось, я и не начинал. Выйдя из аудитории, я встречался со Стивом, у которого публика была приблизительно такая же, с той лишь разницей, что вместо китайцев к нему ходили арабские девушки в хиджабах, столь же серьезные и непроницаемые. Стив почти всегда предлагал мне пойти чего-нибудь выпить – как правило, чаю с мятой в главной парижской мечети на соседней улице. Я не любил ни мятный чай, ни главную парижскую мечеть, да и Стива недолюбливал, но послушно шел за ним. Он, я думаю, был мне признателен за сговорчивость, поскольку не пользовался у коллег особым уважением, да и правда возникал вопрос, как это он ухитрился стать доцентом, не опубликовав ни единой статьи, будь то в серьезном или даже второстепенном журнале, перу его принадлежала лишь невнятная диссертация о Рембо, *полная хрень*, как мне объяснила Мари-Франсуаза Таннер, еще одна моя коллега, крупный специалист по Бальзаку, – о Рембо написаны уже тысячи диссертаций во всех университетах Франции и франкофонных стран, равно как и за их пределами. Рембо, похоже, стал самой избитой диссертационной темой в мире, уступая разве что Флоберу, так что достаточно взять две-три старые диссертации, защищенные в

провинциальных университетах, и творчески их переработать – ни у кого не хватит средств на проверку, ни у кого не хватит ни средств, ни желания проштудировать сотни тысяч страниц о *ясновидце*, накатанных соискателями, лишенными всякой индивидуальности. Своей более чем достойной академической карьерой Стив был обязан, опять же по словам Мари-Франсуазы, тому обстоятельству, что он периодически *вдувал Делузихе*. Почему бы и нет, но все же странно. Шанталь Делуз, ректор Парижа-III, широкоплечая баба с седым бобриком, непримиримая поборница *gender studies*, всегда казалась мне стопроцентной, махровой лесбиянкой, но я мог и ошибаться, она, вполне вероятно, затаила злобу на мужиков, которая выражалась теперь в разнообразных фантазмах на тему женского доминирования, так что, принуждая милягу Стива, с красивым бесхитростным лицом и легкими вьющимися волосами до плеч, опускаться на колени между ее увесистыми ляжками, она испытывала, очевидно, невиданный доселе экстаз. Так или иначе, в то утро, сидя в чайном дворике главной парижской мечети, я невольно подумал об этом, глядя на Стива, посасывающего кальян с мерзким яблочным ароматом.

Он, как обычно, пустился в рассуждения об университетских назначениях и карьерном росте коллег – не помню, чтобы он хоть раз сам завел разговор на другую тему. В то утро он был озабочен присвоением звания доцента автору диссертации о Леоне Блуа, двадцатипятилетнему юнцу, который, как он считал, “был связан с идентитарным движением”. Я закурил, чтобы потянуть время, удивляясь про себя, что ему не все равно. У меня даже мелькнула мысль, что в нем проснулся *левак*, но потом я себя урезонил: *левак* в Стиве спал сном младенца, и лишь какое-то из ряда вон выходящее событие – по меньшей мере, политический дрейф высшего руководства университета – могло бы пробудить его от спячки. Возможно, это не просто так, продолжал Стив, тем более что Амар Резки, известный своими работами о писателях-антисемитах начала XX века, только что стал профессором. Кроме того, не отставал он, на последней конференции ректоров Сорбонны было поддержано предложение ряда университетов Англии бойкотировать обмен с израильскими учеными.

Улучив момент, когда он с головой ушел в раскуривание кальяна, я украдкой взглянул на часы – было всего пол-одиннадцатого, и я понял, что мне вряд ли удастся сбежать, сославшись на вторую лекцию, зато я неожиданно придумал относительно безопасную тему для обсуждения: несколько недель назад все снова заговорили о проекте четырехпятiletней давности, предусматривавшем открытие филиала Сорбонны в Дубае (или в Бахрейне? или в Катаре? я их все время путал). Похожий проект с

Оксфордом тоже стоял на повестке дня, видимо, маститость этих учебных заведений пришлась по вкусу какой-нибудь нефтяной державе. Учитывая, что таким образом перед молодыми доцентами открывались многообещающие перспективы, финансовые в том числе, не собирается ли и Стив встать в общий строй, заявив о своих антиссионистских настроениях? Может, и мне пора этим озаботиться?

Я бросил на Стива безжалостный инквизиторский взгляд – этот парень не отличался большим умом, и его легко было сбить с толку, так что мой взгляд подействовал на него мгновенно:

– Будучи специалистом по Блуа, – пробормотал он, – ты-то уж кое-что знаешь об этом идентитарном антисемитском течении...

Я в изнеможении вздохнул: Блуа не был антисемитом, а я ни в коей мере не являлся специалистом по Блуа. Конечно, мне приходилось говорить о нем в связи с творчеством Гюисманса и даже сравнивать их язык в своей единственной опубликованной книге “Головокружение от неологизмов”, определенно явившейся вершиной моих интеллектуальных трудов земных, и уж во всяком случае заслужившей хвалебные отклики в “Поэтике” и в “Романтизме”, благодаря чему я, видимо, и получил профессорское звание. Действительно, по большей части странные слова у Гюисманса никакие не неологизмы, а редкие заимствования из специфического лексикона ремесленных артелей или из региональных говоров. Гюисманс – в этом заключалась моя основная мысль – до конца оставался натуралистом, и ему важно было привнести в свои произведения живую народную речь, может быть даже, в каком-то смысле он навсегда остался социалистом, принимавшим в юности участие в меданских вечерах у Золя, и его растущее презрение к левым так и не стерло изначального отвращения к капитализму, деньгам и всему, что имело отношение к буржуазным ценностям; он, в сущности, был единственным в своем роде *христианским натуралистом*, тогда как Блуа, жаждавший коммерческого и светского успеха, просто выпендривался, бесконечно изобретая неологизмы, и позиционировал себя как духовный светоч, гонимый и недоступный, заняв в литературных кругах того времени положение элитарного мистика, а потом еще не уставал изумляться своим неудачам и безразличию, вполне, впрочем, заслуженному, с которым были встречены его проклятия. Это был, пишет Гюисманс, “несчастный человек, чье высокомерие представляется поистине дьявольским, а ненависть – безмерной”. И правда, Блуа мне сразу показался типичным *плохим католиком*, чья истовая вера пробуждалась по-настоящему только в присутствии собеседников, осужденных, по его мнению, на вечные муки. Когда я писал диссертацию,

мне приходилось общаться со всякого рода левыми католиками-роялистами, боготворившими Блуа и Бернаноса и завлекавшими меня какими-то подлинниками писем, пока я не убедился, что они ничего, ровным счетом ничего не могут мне предложить, ни одного документа, который я сам с легкостью не отыскал бы в общедоступных университетских архивах.

– Ты на правильном пути... Перечитай Дрюмона, – все-таки сказал я Стиву, скорее чтобы сделать ему приятное, и он посмотрел на меня покорным и наивным взглядом юного подлизы.

Вход в мою аудиторию – в тот день я собирался говорить о Жане Лоррене – перегородили три парня лет двадцати, два араба и один негр, – сегодня они не были вооружены, вид имели, пожалуй, мирный, и в их позах я не заметил ничего угрожающего, но мне все равно надо было пройти сквозь этот строй, так что пришлось вмешаться. Я остановился напротив бравой троицы: они наверняка получили указание не устраивать провокаций и уважительно обращаться с преподавателями, во всяком случае, я очень на это рассчитывал.

– Я профессор и сейчас у меня тут лекция, – сказал я твердым тоном, обращаясь ко всем троим сразу.

Ответил мне негр, широко улыбнувшись:

– Не вопрос, месье, мы просто пришли проведать своих сестер, – произнес он, обводя примиряющим жестом аудиторию.

Сестер там было всего ничего – в левом верхнем углу притулились рядом две девушки в черных паранджах с закрывающей глаза сеткой, – по моему, их совершенно не в чем было упрекнуть.

– Ну вот, проведали, и будет... – добродушно заключил я и добавил: – Вы свободны.

– Не вопрос, месье, – ответил он, улыбаясь еще лучезарнее, развернулся и ушел в сопровождении своих спутников, так и не проронивших ни слова. Сделав три шага, он обернулся:

– Мир да пребудет с вами, месье... – сказал он, чуть поклонившись.

Ну вот, все и обошлось, подумал я, закрывая за собой дверь в аудиторию, на этот раз обошлось. Не знаю, чего я, собственно, ждал, просто ходили упорные слухи о нападениях на преподавателей в Мюлузе, в Страсбурге, в университетах Экс-Марсель и Сен-Дени, правда, своими глазами жертв нападения я пока не видел и в глубине души не очень-то в это верил, к тому же Стив утверждал, что дирекция университета заключила с движением молодых салафитов некую договоренность, о чем свидетельствовал, по его мнению, тот факт, что на подступах к факультету

вот уже два года как не было больше ни единого хулигана и наркодилера. Интересно, есть ли в их договоре пункт о запрете доступа в университет еврейским организациям? Это тоже были всего лишь слухи, и проверить их было сложно – только вот с начала учебного года Союз еврейских студентов Франции больше не имел своих представителей ни на одном кампусе в парижских пригородах, тогда как молодежная секция Мусульманского братства постоянно открывала тут и там новые офисы.

Выходя после лекции (и чем мог заинтересовать девственниц в парандже этот *человекобивый*, как он сам себя называл, Жан Лоррен, мерзкий педик к тому же? Их папаши вообще в курсе, чему они тут учатся? Или с литературы взятки гладки?), я столкнулся с Мари-Франсуазой, которая выразила желание вместе пообедать. Тусовочный, однако, выдался денек.

Мне нравилась эта забавная старая стерва, большая охотница посплетничать; учитывая выслугу лет и членство во всякого рода комитетах, сплетни в ее устах звучали весомее и содержательнее тех, что доходили до мелкой сошки вроде Стива. Она выбрала марокканский ресторан на улице Монж, так что денек выдался вдобавок еще и халяльный.

– Делузиха, – начала она, когда официант принес нам еду, – первый кандидат на вылет. Национальный совет университетов на ближайшем заседании в начале июня, скорее всего, назначит на ее место Робера Редигера.

Я мельком взглянул на тушеную баранину с артишоками, стоящую передо мной, и на всякий случай удивленно поднял брови.

– Понимаю, – сказала она. – Верится с трудом, но это не просто слухи, мне сообщили все подробности.

Я извинился и вышел в туалет, чтобы украдкой заглянуть в свой смартфон, теперь в сети чего только не найдешь, вот и тут всего за пару минут я выяснил, что Робер Редигер прославился своими про-палестинскими настроениями, будучи к тому же одним из главных инициаторов бойкота израильских преподавателей; я тщательно вымыл руки и вернулся к своей коллеге.

Тем временем мой таджин с бараниной, увы, немного остыл.

– Они пойдут на это, не дожидаясь выборов? – спросил я, начиная есть. Я надеялся, что задал хороший вопрос.

– Выборов? Зачем ждать выборов? Что они могут изменить?

Мой вопрос явно оказался не таким уж и хорошим.

– Ну не знаю. У нас все-таки через три недели президентские

выборы...

– Ты сам прекрасно знаешь, это вопрос с оплаченным ответом, как и в 2017-м. Национальный фронт выйдет во второй тур, и тогда переизберут левого кандидата – так какого черта Совету заморачиваться с выборами.

– Ну, все-таки есть еще Мусульманское братство, и мы не знаем, сколько они наберут. Они могут преодолеть психологический барьер в двадцать процентов, что, естественно, отразится на общем соотношении сил.

Это заявление было, конечно, полной чушью: во втором туре избиратели Мусульманского братства на 99 % достанутся Социалистической партии, и это никак не повлияет на результат, но выражения типа *соотношение сил* всегда звучат очень многозначительно, можно сойти за читателя Клаузевица и Сунь Цзы, да и *психологическим барьером* я тоже был весьма горд, во всяком случае, Мари-Франсуаза кивнула, словно я сказал что-то умное, и долго еще прикидывала, как отразится возможное участие Мусульманского братства в правительстве на составе высших университетских инстанций; ее комбинаторный ум просчитывал варианты, но я уже толком ее не слушал, а просто следил за тем, как одна гипотеза сменяет другую на ее угловатом стареющем лице, – надо же чем-то увлекаться в жизни, подумал я, интересно, чем я смогу увлечься, если на самом деле сойду с дистанции и моим романам придет конец? Почему бы не брать уроки виноделия, например, или не коллекционировать самолетики?

Во второй половине дня, отданной семинарским занятиям, я совсем вымотался, аспиранты вообще люди утомительные по определению, только для них, в отличие от меня, это имело хотя бы какой-то смысл; впрочем, у меня было время решить, какое индийское блюдо я разогрею вечером в микроволновке (*чикен бирьяни? чикен тикка масала? куриный роган джош?*), перед тем как включить политические дебаты на канале *France 2*.

В тот вечер пришла очередь кандидатки от Национального фронта, она клялась в любви к Франции (“к какой именно Франции?” – тупо возражали ей левоцентристские комментаторы), а я думал, на самом ли деле у меня не будет больше романов, поживем – увидим, почти весь вечер я собирался позвонить Мириам, у меня сложилось впечатление, что у нее пока никого нет, мы несколько раз сталкивались с ней в университете, и ее взгляды можно было истолковать как выразительные, но, честно говоря, у нее всегда был выразительный взгляд, даже когда она выбирала ополаскиватель для волос, так что нечего тешить себя иллюзиями; может, мне пора

поинтересоваться политикой, во время выборов представители самых разных формаций живут весьма насыщенной жизнью, а я тут тихо загибаюсь, такие дела.

“Счастлив тот, кто удовлетворен жизнью, кто доволен и веселится” – так Мопассан начинает свою статью о “Наоборот” в газете “Жиль Блас”. История литературы вообще-то сурово обошлась с натуралистической школой, и Гюисманса превозносили как раз за то, что он сбросил ее бремя, тем не менее в своей статье Мопассан гораздо умнее и тоньше Блуа, писавшего в те же годы для “Черной кошки”. Даже возражения Золя при внимательном чтении кажутся вполне обоснованными; Дезэссент и правда, с психологической точки зрения, остается неизменным с первой до последней страницы, в этом романе ничего не происходит и не может произойти, в каком-то смысле действие в нем напрочь отсутствует; верно и то, что Гюисмансу никогда не удалось бы продолжить “Наоборот”, его шедевр оказался тупиком; с другой стороны, ведь все шедевры в этом похожи? Написав такую книгу, Гюисманс уже не мог оставаться натуралистом, это-то как раз и понял Золя, тогда как Мопассан, поэтическая душа, оценил в первую очередь сам шедевр. Я изложил свои мысли в краткой статье для журнала “Девятнадцатый век в исследованиях и публикациях”, что на несколько дней целиком захватило меня, и в гораздо большей степени, чем избирательная кампания, хотя ни в коей мере не помешало думать о Мириам.

Наверное, в не столь еще давние времена своего отрочества она была очаровательной готкой, преобразившейся позже в довольно изысканную черноволосую девушку со стрижкой каре, очень белой кожей и темными глазами; за этой изысканностью чувствовалась застенчивая сексапильность, а главное, этот ее неброский эротизм с лихвой оправдал доверие. Любовь мужчины – всего лишь благодарность за доставленное удовольствие, а никто никогда не доставлял мне большего удовольствия, чем Мириам. Когда я был в ней, она могла сколько угодно стискивать мой член изнутри (то мягко, медленными, упоительными сжатиями, то пылкими строптивыми толчками). Или целую вечность крутила миниатюрной попой, прежде чем подпустить меня. Что касается ее минетов, то ничего подобного я до этого не испытывал – она брала в рот как в первый и, казалось, в последний раз в жизни. Да и одного раза хватило бы, чтобы жизнь мужчины была прожита не зря.

В конце концов, проканителювшись еще несколько дней, я позвонил ей; мы договорились увидеться в тот же вечер.

К своим *бывшим девушкам* по-прежнему обращаешься на “ты”, так уж повелось, но на смену поцелуям приходят чмоки. На Мириам была короткая черная юбка и черные колготки, я позвал ее домой, мне не очень хотелось идти в ресторан, она с любопытством оглядела комнату и забралась поглубже на диван, юбка у нее была ну очень короткой, она накрасилась, я предложил ей чего-нибудь выпить, бурбон, если есть, сказала она.

– Ты что-то тут поменял... – она отпила виски, – не пойму только, что именно.

– Занавески.

Я повесил двойные оранжево-охряные шторы с узорами в условно-этническом стиле. Еще я купил кусок материи в цвет и накинул его на диван. Она обернулась, встав на колени, чтобы изучить занавески.

– Красиво, – заключила она в конце концов, – даже очень. У тебя со вкусом всегда был полный порядок. Ну, для такого мачо, как ты, – оговорилась она и снова села, ко мне лицом. – Ничего, что я называю тебя мачо?

– Не знаю, может, ты и права, наверное, во мне есть что-то от среднестатистического мачо, ведь я никогда не считал, что так уж правильно было предоставить женщинам право голосовать, получать образование наравне с мужчинами, свободно выбирать профессию и т. д. Ну мы, конечно, уже привыкли, но такая ли уж это, в сущности, хорошая мысль?

Она удивленно прищурилась, и на мгновение мне показалось, что она действительно задумалась над этим вопросом, да и я неожиданно для себя задумался, но тут же понял, что у меня нет на него ответа, как, впрочем, и на любой другой вопрос.

– Ты за возврат к патриархату, да?

– Я вообще ни за что, ты прекрасно знаешь, но патриархат хорош уже тем, что существовал, я хочу сказать, что в качестве социального уклада он был устойчив, и семьи с детьми, в общем и целом, воспроизводили себе подобных по одной и той же схеме, короче, дело шло своим чередом. А сейчас детей не хватает, так что это дохлый номер.

– Да, теоретически рассуждая, ты мачо. Но у тебя изысканные литературные вкусы: Малларме, Гюисманс, что, конечно, ставит тебя выше обычного кондового мачо. Добавим к этому неестественное, почти женское чутье в выборе портьерных тканей.

Хотя одеваешься ты как лох. Мачо в стиле гранж – вот это уже ближе к делу; но 22 *Tor* ты не любишь, и всегда предпочитал Ника Дрейка. Одним

словом, ты ходячий парадокс.

Прежде чем ответить, я подлил себе виски. Под агрессивным поведением часто кроется желание понравиться, я прочел это у Бориса Цирюльника, а Борис Цирюльник – это тяжелая артиллерия, крутой мужик, в смысле всяких психических штучек, он-то уж фишку сечет, этакий Конрад Лоренц по людям. Впрочем, Мириам слегка раздвинула ноги в ожидании моего ответа. Чем не язык тела, спустись на землю.

– Никакого парадокса тут нет, просто ты ориентируешься на психологию из женских журналов, тупо сведенную к типологии потребителей: экологически ответственная богема, *show-off* буржуазия, тусовщица *gay-friendly*, *satanic geek*, *techno-zen*, – короче, они каждую неделю придумывают что-нибудь новенькое. А я не вписываюсь с налету ни в одну из принятых категорий, вот и все.

– А нельзя ли... если мы проводим вечер вместе, постараться не говорить друг другу гадостей, как по-твоему? – На это раз ее голос дрогнул, и я смутился.

– Хочешь есть? – спросил я, чтобы загладить неловкость, нет, есть она не хотела, но, с другой стороны, как же не поесть. – Как ты насчет суши?

Она согласилась, все всегда соглашаются, когда им предлагают суши, будь то самые капризные гурманы или женщины, помешанные на своей фигуре, – вокруг аморфных пластов сырой рыбы и белого риса сложился какой-то всеобщий консенсус, – а у меня валялся рекламный листок из службы доставки суши, вот уж тоскливое чтение, я ничего не понимал и понимать не собирался в васаби, маки и салмон-роллах, поэтому, остановив свой выбор на комбинированном меню В₃, позвонил им, чтобы сделать заказ, лучше уж было бы пойти в ресторан; нажав на отбой, я поставил Ника Дрейка. Последовало долгое молчание, которое я нарушил, подураски, надо сказать, спросив у нее, как учеба. Она взглянула на меня с упреком и сказала, что все отлично и она собирается поступать в магистратуру на издательское дело. Я с облегчением вырулил на более общие темы, подтвердив, кстати, верность выбранного ею пути: тогда как французская экономика продолжает неумолимо съезжать вниз целыми пластами, издательское дело в полном порядке и приносит, как ни странно, растущие доходы, как будто людям в безнадежной ситуации только и остается, что читать книжки.

– По тебе тоже не заметно, что ты в порядке. Хотя ты всегда такой, по-моему, – заметила она беззлобно, скорее даже с печалью в голосе.

Что тут скажешь, возразить мне, пожалуй, было нечего.

– У меня что, такой депрессивный вид? – помолчав еще немного, спросил я.

– Нет, не депрессивный, но это даже хуже в каком-то смысле, в тебе всегда чувствовалась ненормальная честность, нежелание идти на компромиссы, благодаря которым, собственно, люди и выживают. Допустим даже, ты прав насчет патриархата, считая, что это единственная жизнеспособная модель. Но, видишь ли, вот я, например, получила образование, привыкла считать себя независимой личностью, одаренной способностью размышлять и принимать решения, ни в чем не уступая мужчинам, так что же со мной теперь делать? Выкинуть на помойку?

Возможно, ответ “да” был бы верным, но я промолчал, что, кстати, ставило под сомнение мою кристальную честность. От суши не было никаких вестей. Я налил себе еще стакан виски, третий по счету. Ник Дрейк продолжал воспевать невинных девушек и старинных принцесс. А мне по-прежнему ничего не хотелось – ни сделать ей ребенка, ни вести совместное хозяйство, ни покупать сумку-кенгуру. Мне даже трахаться не хотелось. Ну, немножко, может, и хотелось, но в то же время немножко хотелось и умереть, я уже толком не понимал, что к чему, меня мутило, да что они, черт возьми, себе думают, эти “Скоросуши”? Мне бы следовало попросить ее взять в рот, именно сейчас, это бы дало нашим отношениям второй шанс, но дурнота полностью завладела мною, усиливаясь с каждой секундой.

– Ну что, может, я пойду... – спросила она после, по меньшей мере, трехминутного молчания. Ник Дрейк только что закончил свои стенания, и мы перешли бы к хрипу “Нирваны”, но я выключил звук и ответил:

– Как хочешь...

– Мне жалко, правда жалко, что ты до такого дошел, Франсуа, – призналась она, стоя уже в пальто в прихожей. – Я бы и рада как-то тебе помочь, только ума не приложу, как именно, ты просто не даешь мне такой возможности.

Мы снова поцеловались; я был далек от мысли, что мы сумеем с этим справиться.

Суши принесли через несколько минут после ее ухода. Очень много суши.

Часть вторая

После ухода Мириам я провел в одиночестве больше недели; впервые с тех пор, как я стал профессором, я был не в состоянии даже вести занятия по средам. Работа над диссертацией и издание книги стали интеллектуальными вершинами моей жизни; с тех пор прошло уже десять лет. Интеллектуальными или просто вершинами? Тогда, во всяком случае, я чувствовал, что мое существование *имеет смысл*. С тех пор я не поднимался выше кратких статей для “Девятнадцатого века” или изредка для *Le Magazine litteraire*, если на повестке дня возникало нечто, имеющее отношение к моей области. Мои статьи были внятными, колкими, блестящими и, как правило, пользовались успехом, тем более что я всегда сдавал их в срок. Достаточно ли этого, чтобы признать жизнь имеющей смысл, – другой вопрос. И почему, собственно, жизнь, в принципе, должна иметь смысл? Все животные и подавляющее большинство людей прекрасно живут, не испытывая никакой нужды в смысле жизни. Живут, потому что живут, и точка, – так они мыслят; потом умирают – надо думать, потому, что умирают, вот и вся их философия. Но, будучи специалистом по Гюисмансу, я полагал, что мне-то уж пристало копнуть чуть глубже.

Когда аспиранты спрашивают меня, в каком порядке следует изучать произведения автора, которому они решили посвятить свою диссертацию, я неизменно отвечаю, что лучше придерживаться хронологии. И не потому, что жизнь писателя имеет решающее значение; скорее наоборот, именно последовательность произведений вычерчивает своего рода интеллектуальную биографию, с определенной внутренней логикой. Что касается Жориса-Карла Гюисманса, то загвоздка была, понятное дело, в исключительной проницательности романа “Наоборот”. Как, написав столь мощную и неординарную книгу, не имеющую аналогов в мировой литературе, – можно писать дальше?

Первое, что, естественно, приходит на ум, – можно, но чудовищно трудно. Что мы и наблюдаем на примере Гюисманса. Роман “У пристани”, следовавший за “Наоборот”, надежд не оправдывает, да и как иначе, и если, несмотря на разочарование, ощущение затянутости и медленного схождения на нет, чтение его все же не лишено известного удовольствия, то только потому, что автору пришла в голову гениальная мысль: рассказать в обманывающей надежды книге историю обманутых надежд. Таким образом, соответствие приема сюжета влечет за собой и читательское

приятие такой эстетики, короче говоря – читать скучновато, но и бросать не хочется, хотя создается впечатление, что у *пристани* сели на мель не только персонажи романа, устав от сельской тоски, но и сам Гюисманс. Могло бы даже показаться, что он чуть ли не пробует вернуться к натурализму (к мрачному деревенскому натурализму, когда крестьяне оказываются еще гнуснее и корыстнее парижан), если бы не описания сновидений, то и дело прерывающие повествование, отчего оно становится уж совсем неудобоваримым и не укладывается ни в какие рамки.

Гюисманс все же выйдет из тупика уже в следующем романе, благодаря элементарному, испытанному приему – сделав своим альтер эго главного героя, формирование личности которого мы прослеживаем по нескольким книгам. Все это я ясно изложил в своей диссертации; проблемы у меня возникли позже, потому что переломным моментом в формировании личности Дюрталя (равно как и самого Гюисманса) – начиная с “Бездны”, на первых страницах которой он распрощался с натурализмом, затем в романах “На пути” и “Храм” и, наконец, в “Облате” – является обращение в католичество.

Конечно, атеисту нелегко рассуждать о романах, объединенных темой обращения; точно так же можно предположить, что ни разу не влюблявшийся человек, который попросту чужд этого чувства, вряд ли заинтересуется историей любовной страсти. У атеиста, вникающего в духовные метания Дюрталя – а именно они составляют канву трех последних романов Гюисманса, когда благодать, подобно маятнику, то отступает, то стремительно нисходит снова, – реальное эмоциональное соучастие отсутствует, и им постепенно овладевает чувство, которое, увы, есть не что иное, как скука.

Вот на этом этапе моих раздумий (я только что проснулся и пил кофе в ожидании рассвета), меня посетила крайне неприятная мысль: если “Наоборот” стал вершиной литературной жизни Гюисманса, то Мириам можно считать вершиной моей любовной жизни. Как я справлюсь с этой потерей? Ответ – скорее всего, никак.

В ожидании смерти я мог еще что-нибудь написать для “Девятнадцатого века” – до следующего собрания оставалось меньше недели. А также озаботиться предвыборной кампанией. Мужчины часто интересуются политикой и воинами, но меня эти забавы мало привлекали, я чувствовал себя ничуть не более политизированным, чем полотенце в ванной, и об этом, видимо, стоило пожалеть. Правда, когда я был молод, выборы не представляли ни малейшего интереса; убожеству

“политического предложения” можно было только поражаться. Сначала выбирали кандидата от левоцентристов, на один или два срока, в зависимости от его харизматичности, – пойти на третий срок он по каким-то невразумительным причинам не имел права; затем населению надоедали левоцентристы вообще и данный кандидат в частности, и тогда мы наблюдали феномен *демократического чередования* в действии – избиратели приводили к власти кандидата от правоцентристов, тоже на один-два срока, сообразуясь с его личными качествами. Как ни удивительно, западные страны чрезвычайно гордились своей избирательной системой, которая, в общем-то, была не более чем способом поделить власть между двумя враждующими бандами, и порой даже доводили дело до войны, а все ради того, чтобы навязать эту систему странам, не разделяющим их восторгов.

С тех пор, благодаря успехам крайне правых, выборы стали чуть увлекательнее, и от дебатов повеяло забытым было холодком фашизма; но реальные сдвиги наметились только в 2017 году, во втором туре президентских выборов. Оторопевшая мировая пресса стала свидетелем постыдного, но логически неизбежного зрелища, а именно переизбрания левого кандидата в государстве, все ощущимее дрейфующем вправо. На несколько недель, последовавших за объявлением результатов голосования, в стране воцарилась странная гнетущая атмосфера. Это было нечто вроде удушливого, беспредельного отчаяния, сквозь которое пробивались тут и там мятежные вспышки. Многие тогда приняли решение эмигрировать.

Через месяц после обнародования результатов второго тура Мохаммед Бен Аббес объявил о создании Мусульманского братства. Первая ласточка политического ислама, Партия мусульман Франции, скоростно скончалась по причине удручающего антисемитизма ее лидера, который дошел до того, что стал якшаться с крайне правыми. Этот провал послужил уроком Мусульманскому братству, теперь оно строго следило за умеренностью своей позиции, то есть лишь в умеренных дозах позволяло себе отстаивать права палестинцев, поддерживая сердечные взаимоотношения с еврейскими религиозными лидерами. По модели мусульманских партий арабских стран – эту модель, кстати, использовали в свое время коммунисты во Франции – собственно политическая деятельность Братства просеивалась сквозь широкую сеть молодежных организаций, культурных учреждений и благотворительных ассоциаций. В стране, где обнищание масс неуклонно росло из года в год, подобная система передаточных звеньев принесла свои плоды и позволила Мусульманскому братству значительно расширить свою аудиторию, выйдя

далеко за сугубо конфессиональные рамки, так что успех их был поистине головокружительным: по результатам последних опросов общественного мнения эта партия, возникшая всего пять лет назад, набирала 21 %, наступая таким образом на пятки Социалистической партии с ее 23 %. Традиционные правые могли рассчитывать максимум на 14 %, а вот Национальный фронт, имея 32 % голосов, сохранял позицию крупнейшей французской партии, к тому же с большим отрывом.

За последние годы телеведущий Давид Пюжадас превратился в настоящего властителя дум и не только вошел в “элитарный клуб” политических журналистов (Котта, Элькабаш, Дюамель и некоторые другие), которые, как считалось, в итоге своей успешной карьеры достигли достаточно высокого уровня, чтобы выступать в роли арбитров на дебатах между двумя турами президентских выборов, но и превзошел своих предшественников куртуазной твердостью, спокойствием, а главное – умением игнорировать оскорбления, усмирять входивших в штопор противников и придавать их перепалкам вид достойного демократического противостояния. Кандидаты от Национального фронта и Мусульманского братства выбрали его модератором своих дебатов в преддверии первого тура – самых рейтинговых, надо сказать, потому что, если кандидату от Мусульманского братства, с момента вступления в гонку набравшему, по опросам, все больше голосов, удалось бы переиграть кандидата от социалистов, мы могли получить невиданный доселе второй тур с абсолютно непредсказуемым результатом. Сторонники левых, несмотря на неоднократные призывы и все более агрессивный тон своей партийной прессы, отнюдь не жаждали отдавать голоса мусульманскому кандидату; сторонники правых, численность которых неуклонно росла, казалось, готовы были, вопреки категоричным заявлениям их лидеров, переступить черту и проголосовать во втором туре за кандидатку от Национального фронта. Таким образом, ставка у последней была чрезвычайно высока, выше не бывает.

Дебаты были назначены на среду, что несколько осложнило мне жизнь; накануне я закупил целый набор индийских блюд для микроволновки и три бутылки ничем не примечательного красного вина. Между Венгрией и Польшей прочно установилась область повышенного атмосферного давления, задерживая продвижение на юг циклона, зависшего над Британскими островами; на всей территории континентальной Европы сохранялась непривычно сухая и холодная погода. Аспиранты задолбали меня за день своими вопросами, типа “почему второстепенные поэты

(Мореас, Корбьер и пр.) считались второстепенными и что им мешало считаться ведущими (как Бодлер-Рембо-Малларме, если не вдаваться, а там уже и до Бретона рукой подать). На самом деле вопросы двух тощих и злых аспирантов были не такими уж праздными – один из них хотел написать диссертацию о Шарле Кро, другой о Корбьере, но я прекрасно понимал, что, боясь проколоться, они предпочитали заручиться мнением представителя университета. Увиливая от прямого ответа, я порекомендовал им Лафорга в качестве компромисса.

Пока шли дебаты, я дал маху, вернее, дала маху моя микроволновка, решив продемонстрировать свою новую функцию (вращаясь с дикой скоростью и издавая какое-то космическое гудение, она не собиралась ничего разогревать), в итоге мне пришлось вывалить содержимое индийских пакетов на сковородку, так что я пропустил большую часть аргументов, которыми обменялись стороны. Но даже из того, что я успел услышать, мне стало ясно, что претенденты на президентское кресло вели себя даже чересчур корректно, бесконечно расшаркиваясь друг перед другом, и по очереди клянясь в безграничной любви к Франции, – одним словом, создавалось впечатление, что они согласны более или менее по всем пунктам. Тем временем в Монфермее произошли столкновения между крайне правыми активистами и группой юных африканцев, которые не причисляли себя ни к одной политической группировке, – вследствие осквернения мечети эпизодические стычки в этом населенном пункте отмечались на протяжении всей последней недели. На следующий день сайт идентитаристов подтвердил, что столкновения носили ожесточенный характер и привели к гибели нескольких человек, но министерство внутренних дел тут же опровергло эту информацию. Как водится, лидеры Национального фронта и Мусульманского братства, каждый со своей стороны, выпустили коммюнике, решительно отмежевавшись от подобных преступных действий. Два года назад в средствах массовой информации появились скандальные репортажи о первых вооруженных столкновениях, но в последнее время речь о них заходила все реже и реже – судя по всему, теперь это считалось в порядке вещей. В течение нескольких лет, скорее даже в течение нескольких десятков лет, “Монд”, да и все левоцентристские газеты, то есть вообще все газеты, периодически обличали “кассандр”, предрекавших гражданскую войну между иммигрантами из мусульманских стран и коренным населением Западной Европы. Как мне объяснил один коллега, преподававший греческую литературу, такое использование мифа о Кассандре было довольно любопытным. В греческой мифологии Кассандра поначалу предстает юной

красавицей, “златой Афродите подобной”, как писал Гомер. Влюбленный Аполлон наделяет ее пророческим даром в обмен на будущие утехи. Кассандра дар приняла, но взаимностью богу не ответила, и тот в гневе плюнул ей в рот, ввиду чего никто ее никогда не понимал и не верил ей. А она предсказала одно за другим похищение Елены Парисом, начало Троянской войны и предупредила своих троянских соотечественников о коварстве греков – о пресловутом Троянском коне, благодаря которому они и взяли город. Погибла Кассандра от руки Клитемнестры, несмотря на то что это убийство она тоже предвидела, равно как и убийство Агамемнона, хотя он и отказывался ей верить. Короче говоря, от Кассандры поступали образцовые пессимистические предсказания, которые постоянно сбывались, и, судя по тому, что происходило сейчас, левоцентристские журналисты в слепоте своей не уступали троянцам. Подобная слепота, впрочем, не несла в себе никакой исторической новизны: в тридцатые годы прошлого века то же самое происходило с интеллектуалами, политиками и журналистами, которые все как один были убеждены, что Гитлер “рано или поздно одумается”. Не исключено, что люди, живущие и процветающие при определенном строе, просто не в состоянии встать на точку зрения тех, кто никогда ничего хорошего от этого строя не ждал и готов уничтожить его, не испытывая особого трепета.

Надо сказать, что за последние месяцы позиция левоцентристских медиа изменилась: беспорядки в пригородах и межэтнические конфликты не упоминались вообще, эту проблему обходили молчанием, перестав даже обличать “кассандр”, которые, со своей стороны, наконец-то замолкли. Всем надоели разговоры на эту тему; в моем кругу эта усталость стала чувствоваться даже раньше, чем в каком-либо другом; “будь что будет” – так можно было вкратце определить общее состояние умов.

На следующий вечер, отправляясь на ежеквартальный коктейль “Девятнадцатого века”, я был уверен, что беспорядки в Монфермее не будут там широко обсуждаться, наверняка не больше, чем заключительные дебаты перед первым туром, и уж точно меньше, чем недавние университетские назначения. Вечеринку устроили в арендованном по такому случаю Музее романтической жизни на улице Шапталь.

Я всегда любил площадь Сен-Жорж с ее восхитительными фасадами Прекрасной эпохи и на минуту задержался перед памятником Гаварни, прежде чем продолжить свой путь по улицам Нотр-Дам-де-Лорет и Шапталь. Под номером 16 короткая мощеная аллея, обсаженная деревьями, вела прямо к музею. Погода стояла теплая, и двустворчатые двери,

выходившие в сад, были широко распахнуты; фланируя между липами с бокалом шампанского, я почти сразу заметил Алису – она была специалисткой по Нервалю и занимала должность доцента в университете Лион-III. Ее яркое легкое платье в цветочек, безусловно, принадлежало к разряду “коктейльных”, и я, хоть и не видел особой разницы между коктейльными и вечерними платьями, был уверен, что уж Алиса-то при любых обстоятельствах надела бы подобающее платье, да и вела бы себя как подобает, в ее обществе я отдыхал душой и поэтому не задумываясь помахал ей, несмотря на то что она была поглощена разговором с каким-то молодым человеком с угловатым лицом и ослепительно-белой кожей, выглядевшим, как ни странно, весьма элегантно в синем блейзере поверх майки с эмблемой ПСЖ и ярко-красных кроссовках; Годфруа Лемперер, – представился молодой человек.

– Я ваш новый коллега... – сказал он. Я отметил, что он пил чистый виски. – Я только что получил место в Париже-III.

– Да, мне известно о вашем назначении, вы специалист по Блуа, если не ошибаюсь?

– Франсуа терпеть не может Блуа, – непринужденно вмешалась Алиса. – Я имею в виду, что, будучи специалистом по Гюисмансу, он, само собой, по другую сторону баррикад.

Лемперер взглянул на меня и с неожиданно сердечной улыбкой живо сказал:

– Я, конечно, вас знаю... И с огромным восхищением отношусь к вашим работам о Гюисмансе. – Он на мгновение замолчал, подыскивая слова и не спуская с меня пронзительного взгляда.

Его взгляд был даже чересчур пронзителен, наверняка он красится, подумал я, уж во всяком случае, подводит ресницы, и я почему-то решил, что он мне скажет сейчас что-то важное. Алиса смотрела на нас с симпатией и чуть заметной насмешкой, такой взгляд бывает у женщин, слушающих мужской разговор, а это довольно любопытное явление, нечто среднее между дуэлью и педерастией. Сильный порыв ветра разворошил над нами кроны лип. В эту минуту я уловил далекий, неясный и глухой звук, похожий на взрыв.

– Удивительным образом, – снова заговорил Лемперер, – писателей, которыми занимался в юности, всю жизнь считаешь близкими людьми... Казалось бы, спустя один-два века страсти должны утихнуть, а преподаватели университета – достичь чего-то вроде литературной объективности и т. д. Ан нет. Гюисманс, Золя, Барбе д’Оревильи, Блуа и прочие были знакомы между собой, питали друг к другу дружеские чувства

или ненависть, сближались, ссорились, и история их отношений стала историей французской литературы. Но и мы, более чем столетие спустя, воспроизводим те же отношения, храним верность чемпиону, за которого болели когда-то, и по-прежнему готовы любить, ссориться и сражаться из-за него посредством научных статей.

– Вы правы, но ведь тем лучше. По крайней мере, это доказывает, что литература – дело серьезное.

– А вот с беднягой Нервалем никто никогда не ссорился, – снова вмешалась Алиса, но Лемперер, по-моему, даже не услышал ее, он по-прежнему не сводил с меня пронзительного взгляда, полностью поглощенный своей собственной тирадой.

– Вы всегда были человеком серьезным, – продолжал он. – Я прочел все ваши статьи в “Девятнадцатом веке”. Чего не скажешь обо мне. В двадцать лет я был буквально заморожен Блуа, восхищался его непримиримостью, яростью, виртуозным умением презирать и оскорблять; но во многом, конечно, это было данью моде. Блуа являл собой абсолютное оружие против XX века с его посредственностью, ангажированной глупостью, докучливым гуманитаризмом; против Сартра, против Камю, против всей этой клоунады; а также против тошнотворных формалистов, и нового романа, и прочей пустопорожней бессмыслицы. Ладно, сейчас мне двадцать пять лет, я все так же не люблю ни Сартра, ни Камю, ни что-либо хоть отдаленно напоминающее новый роман, но и виртуозность Блуа мне теперь в тягость, я должен признаться, что от всей этой духовности и сакральности, которыми он так упивается, мне уже, в общем-то, ни горячо ни холодно. Сейчас я с гораздо большим удовольствием перечитываю Мопассана и Флобера, и даже Золя, ну, избранные места, так сказать. И Гюисманса, он весьма занятен...

Да у него просто на лбу написано: “правый интеллектуал”, какая прелесть, подумал я, на филфаке он не останется незамеченным. Если человека не перебивать, он будет говорить бесконечно, всем всегда интересны собственные речи, но все же собеседника следует систематически подбадривать. Я без особой надежды поглядывал на Алису, понимая, что этот период ей совершенно неинтересен, она была убежденной *Frühromantik*^[3]. Я чуть было не спросил у Лемперера: а вы, вообще, кто, скорее католик или скорее фашик, или то и другое в равной степени, но вовремя спохватился, нет, я явно утратил всякую связь с правыми интеллектуалами и забыл, с какого боку заходить. Внезапно вдалеке послышалось что-то вроде автоматной очереди.

– Что это, как вы думаете? – спросила Алиса. – Похоже на

стрельбу... – добавила она неуверенно.

Мы тут же замолкли, и я вдруг понял, что стихли все разговоры в саду, так что снова стал слышен шорох листвы на ветру и негромкие шаги по гравию – гости выходили из зала, где происходил коктейль, и медленно ступали между деревьями, словно ожидая чего-то. Мимо меня прошли два преподавателя из университета Монпелье, как-то странно держа включенные смартфоны в горизонтальном положении, словно это были прутики для поиска подземных родников.

– Ничего нет... – с тревогой выдохнул один из них. – Они зависли на саммите Большой двадцатки.

Они сильно ошибаются, если рассчитывают, что информационные каналы будут освещать эти события, подумал я. Ни слова не скажут, как вчера о Монфермее; все будто воды в рот набрали.

– Вот и до Парижа докатилось, – безучастно заметил Лемперер.

В ту же секунду снова послышались выстрелы, на этот раз весьма отчетливо – судя по всему, стреляли неподалеку, – затем раздался гораздо более громкий взрыв. Все гости мгновенно повернулись в ту сторону. В небо над домами поднимался столб дыма; видимо, это происходило где-то в районе площади Клиши.

– Боюсь, наша тусовка не затянется... – беспечно заметила Алиса.

И правда, многие из присутствующих принялись куда-то звонить, а некоторые даже стали продвигаться к выходу, но неторопливо, словно невзначай, делая вид, что не потеряли самообладания и ни в коем случае не собираются поддаваться панике.

– Можем продолжить у меня, если хотите, – предложил Лемперер. – Я живу на улице Кардинала Мерсье, в двух шагах отсюда.

– У меня завтра лекция в Лионе, я уеду шестичасовым экспрессом, – сказала Алиса. – Так что мне уже, наверное, пора.

– Ты уверена?

– Да, и, как ни странно, мне совсем не страшно.

Я взглянул на нее, спрашивая себя, стоит ли ее поугovarивать, но почему-то мне тоже не было страшно, я был уверен, без всяких на то оснований, что столкновения не выйдут за пределы бульвара Клиши.

“Твинго” Алисы был припаркован на углу улицы Бланш.

– Мне кажется, ты поступаешь не очень разумно, – сказал я, поцеловав ее. – Позвони все-таки, когда доберешься.

Она кивнула и тронулась с места.

– Потрясающая женщина... – сказал Лемперер.

Я согласился, заметив про себя, что, в сущности, мало что знаю об Алисе. Если не считать обсуждения почетных наград и карьерных успехов, наше общение с коллегами ограничивалось пересудами о том, кто с кем спит, но никаких сплетен про нее я не слышал. Она была умна, элегантна, миловидна – сколько, интересно, ей лет? Приблизительно как мне, лет сорок – сорок пять, и, судя по всему, у нее никого нет. Все-таки ей рано пока завязывать с этим делом, подумал я и тут же вспомнил, что еще вчера рассматривал для себя такую же перспективу.

– Ага, потрясающая! – поддакнул я, пытаясь отделаться от этой мысли.

Перестрелка стихла. Свернув на безлюдную в этот час улицу Баллю, мы очутились как раз в эпохе наших любимых писателей – о чем я не преминул сказать Лемпереру; практически все здания тут, прекрасно сохранившиеся, были построены во времена Наполеона III или в первые годы Третьей республики.

– Вы правы, даже вторники Малларме проходили совсем рядом, на улице Ром... – ответил он. – А вы где живете?

– На авеню Шуази. Это скорее семидесятые годы прошлого века. В литературном смысле ничем не примечательный период.

– То есть в чайна-тауне?

– Именно. Я живу в самом центре чайна-тауна.

– Вполне может оказаться, что это правильное место, – после долгой паузы задумчиво произнес он.

Мы как раз дошли до угла улицы Клиши. Я в изумлении остановился. В сотне метров к северу от нас, на площади Клиши, бушевало пламя; поодаль виднелись обугленные остовы машин и автобуса; в гуще огня чернела величественная статуя маршала Моисея. Людей видно не было. Стояла звенящая тишина, нарушаемая только монотонным воем сирен.

– Что вы знаете о военной карьере маршала Моисея?

– Ровным счетом ничего.

– Он был наполеоновским солдатом. Прославился при обороне заставы Клиши от наступающих русских войск в 1814-м. Если беспорядки перекинутся на Париж, – продолжал он тем же тоном, – китайская община останется над схваткой. Чайнатаун будет, возможно, одним из немногих безопасных кварталов в городе.

– Думаете, это реально?

Он молча пожал печами. В эту минуту я с ужасом увидел, как двое парней с автоматами, в кевларовых комбинезонах полицейского спецназа, преспокойно шагают по улице Клиши по направлению к вокзалу Сен-Лазар. Они оживленно болтали, даже не взглянув в нашу сторону.

– Они... – я так оторопел, что с трудом подбираю слова, – они идут себе, как ни в чем не бывало.

– Да... – Лемперер остановился и задумчиво потер подбородок. – Видите ли, в данный момент очень трудно сказать, что реально, а что нет. Тот, кто будет верить вас в обратном, либо дурак, либо лжец; я думаю, сейчас никто не может утверждать, что знает, как все сложится в ближайшие недели. – Он умолк ненадолго и продолжил: – Ну вот, мы почти пришли. Надеюсь, ваша подруга нормально доехала...

Тихая, пустынная улица Кардинала Мерсье упиралась в фонтан с колоннами. По обе стороны от него массивные ворота, увенчанные камерами видеонаблюдения, вели в засаженные деревьями дворы.

Лемперер нажал указательным пальцем на маленький алюминиевый щиток – очевидно, биометрический домофон; перед нами тут же поднялась металлическая штора. В глубине двора, полускрытый платанами, виднелся роскошный и элегантный особнячок, образец стиля Наполеона III. Я недоумевал: вряд ли он живет в таком месте на университетскую зарплату; а на что тогда?

Почему-то своего юного коллегу я представлял себе в строгом минималистическом интерьере – ничего лишнего и все белое. Оказалось, что убранство его квартиры полностью соответствует архитектурному стилю дома: гостиная, обитая шелком и бархатом, была уставлена удобными креслами и столиками, украшенными маркетри с перламутровой инкрустацией. Над искусно отделанным камином царил огромная картина в помпезном стиле, возможно подлинник Бугро. Я сел на оттоманку, затянутую бутылочно-зеленым репсом, и согласился отведать грушевой водки.

– Если хотите, можем попытаться понять, что там творится... – предложил он, наполняя мой стакан.

– Нет, я уверен, что информационные каналы ничего не сообщат. Разве что по *CNN*, если у вас есть спутниковая антенна.

– Я уже все испробовал в эти дни. По *CNN* ничего, в *YouTube* тоже, как и следовало ожидать. В *Rutube* время от времени что-то мелькает – люди снимают на мобильники; но это уж как повезет, сейчас я и там ничего не нашел.

– Не понимаю, какой смысл в этом заговоре молчания, не понимаю, чего добивается правительство.

– Ну, это как раз ясно: они на самом деле боятся, что Национальный фронт победит на выборах. А каждая картинка уличных беспорядков

добавляет голоса Национальному фронту. Теперь обстановку нагнетают крайне правые. Конечно, ребята в пригородах заводятся с полоборота; но, заметьте, в последние месяцы всем вспышкам агрессии предшествовали антиисламские провокации: то мечеть осквернили, то женщину угрозами вынудили снять никаб, ну, короче, что-то в этом роде.

– Вы считаете, за всем этим стоит Национальный фронт?

– Нет, нет, они на такое не пойдут. У них все устроено совсем иначе. Скажем... существуют обходные пути...

Он допил залпом свой стакан, подлил нам обоим и замолчал. На картине Бугро, висевшей над камином, были изображены пять женщин: полуобнаженные или в белых туниках, они сидят в саду вокруг голого кудрявого мальчика. Одна из женщин заслоняет грудь руками; у другой руки заняты, она держит букет полевых цветов. У нее очень красивая грудь; художнику замечательно удалось складки ее покрывала. Картина была написана чуть более века назад, и мне показалось, что все это так далеко от меня, что поначалу я буквально застыл в оцепенении, рассматривая непонятный предмет.

Можно было попытаться медленно, постепенно влезть в шкуру буржуа XIX века, какого-нибудь нотабля в сюртуке, для которого, собственно, и писалась эта картина, и, как он тогда, почувствовать, как зарождается эротическое волнение при виде обнаженных греческих фигур, но это было бы трудоемкое, непростое путешествие во времени. Мопассан, Золя и даже Гюисманс подпускали к себе гораздо скорее. Наверно, стоило бы поговорить об этом странном свойстве литературы, но я решил тем не менее говорить о политике, мне хотелось узнать о ней побольше, а Лемперер, судя по всему, уже все узнал, по крайней мере, он производил такое впечатление.

– Вы были близки к идентитарному движению, если не ошибаюсь. – Тон мой был безупречен, типа светский человек с запросами, любопытствующий, не более того, демонстрирует нечто вроде дружелюбного нейтралитета, причем не без изящества.

Он широко улыбнулся.

– Да, знаю, на факультете ходят такие слухи... Действительно, я принадлежал к этому движению, несколько лет назад, когда писал диссертацию. Это были идентитаристы с католическим уклоном, порой роялисты, ностальгирующие романтики в душе, и к тому же в большинстве своем алкоголики. Но это все в прошлом, я потерял с ними всякую связь и думаю, что, появившись я сегодня на их собрании, мне все было бы в новинку.

Я многозначительно промолчал: если молчишь многозначительно, глядя людям прямо в глаза и делая вид, будто благоговейно им внимаешь, они начинают говорить без умолку. Они любят, когда их слушают, это знают все следователи; все следователи, все писатели, все шпионы.

– Видите ли, – снова заговорил он, – идентитарный блок на самом деле все что угодно, только не блок, он подразделялся на множество фракций, которые редко находили общий язык и с трудом договаривались между собой, там были католики, солидаристы, примкнувшие к “Третьему пути”, роялисты, неоязычники, и нестигаемые сторонники секуляризма, выходцы из крайне левых. Но все изменилось, когда возникли “Исконные европейцы”. Поначалу они взяли за образец “Исконных республиканцев”, но, вывернув их идеи наизнанку, они умудрились выдать ясный и объединяющий многих месседж: мы исконные европейцы, мы первыми заняли эту землю, и мусульманской колонизации мы здесь не допустим; мы также выступаем против американских фирм и приобретения нашего наследия новыми капиталистами из Индии, Китая и т. д. Они ссылались на Джеронимо, Кочиса и Сидящего Быка, что было достаточно умно с их стороны, а главное, их сайт отличался современным дизайном, потрясающей анимацией и зажигательной музыкой, привлекавшими новую публику, в частности молодежь.

– Вы правда считаете, что они хотят развязать гражданскую войну?

– Вне всякого сомнения. Сейчас я вам покажу один текст, выложенный в сети...

Он встал и вышел в соседнюю комнату. Как только мы сели в гостиной, перестрелка вроде бы смолкла; с другой стороны, в этом тупике было очень тихо и вряд ли отсюда мы бы ее услышали.

Вернувшись, он протянул мне десяток скрепленных листов, распечатанных мелким шрифтом; и впрямь документ был озаглавлен на редкость доходчиво: ПОДГОТОВКА К ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ.

– Такого рода текстов там полно, но этот, пожалуй, самый исчерпывающий, с достоверной статистикой. Тут много цифр, поскольку они изучили данные по двадцати двум странам Евросоюза, но вывод везде один и тот же. Если кратко, их мысль сводится к тому, что религиозность дает преимущество при естественном отборе: супружеские пары, исповедующие одну из трех мировых религий, патриархальные ценности которых незыблемы, имеют больше детей, чем атеисты и агностики; женщины в таких парах менее образованны, гедонизм и индивидуализм выражены слабее. Кроме того, религиозность, как правило, передается генетически: неофиты или, наоборот, отступники, отказавшиеся от

традиционных семейных ценностей, составляют ничтожную погрешность; люди в большинстве своем хранят верность той метафизической системе, в которой они были воспитаны. Атеистический гуманизм, лежащий в основе “добрососедства”, долго не продержится, процент монотеистического населения в скором времени вырастет, в основном это касается мусульман, даже если не учитывать иммигрантов, которые только увеличивают эти показатели. Европейские идентитаристы принимают как данность тот факт, что между мусульманами и всеми остальными рано или поздно начнется гражданская война. Из чего следует, что, если они хотят получить шанс на победу в этой войне, им выгоднее, чтобы она разразилась как можно скорее, не позднее 2050 года, а хорошо бы и раньше.

– Логично, мне кажется...

– Да, с военной и политической точки зрения они, безусловно, правы. Остается понять, решатся ли они перейти к активным действиям прямо сейчас – и если да, то в каких странах. Неприятие мусульман достаточно велико во всей Европе, но Франция тут стоит особняком благодаря своей армии. Французская армия остается по-прежнему одной из сильнейших в мире, и каждое новое правительство остается верным этой установке, несмотря на сокращение оборонных расходов; таким образом, никакое повстанческое движение не может рассчитывать на успех, в случае если правительство решит задействовать войска. Поэтому и стратегия тут совсем другая.

– В каком смысле?

– Военная карьера длится недолго. На сегодняшний день общая численность французской армии – сухопутных войск, военно-морских и военно-воздушных сил, вместе взятых, – составляет триста тридцать тысяч человек, включая жандармерию. Ежегодно в нее набирают по двадцать тысяч, а это значит, что через пятнадцать с чем-то лет состав французских вооруженных сил полностью обновится. Если юные активисты-идентитаристы – а практически все они молоды – дружными рядами отправятся служить в армию, они в кратчайшие сроки смогут взять ее под идеологический контроль. Такова была изначальная стратегия политического крыла их движения, что и спровоцировало два года назад разрыв с силовым крылом, выступавшим за немедленный переход к вооруженной борьбе. Я думаю, политическое крыло удержит контроль, а силовое привлечет на свою сторону лишь немногочисленных маргиналов, бывших уголовников, которым дай только пострелять. При этом в других странах ситуация может быть совершенно иной, в частности в Скандинавии. Идеология мультикультурализма в Скандинавских странах

еще сильнее, чем во Франции, там идентитаристов много, и боевая закалка у них посерьезнее; кроме того, потенциал тамошних вооруженных сил невелик, и вряд ли они справятся с масштабными беспорядками. Так что если в ближайшее время в Европе и произойдет всеобщее восстание, то, скорее всего, начнется оно в Норвегии или Дании; теоретически Бельгия и Голландия тоже весьма нестабильные территории.

К двум часам ночи все вроде успокоилось, и я быстро поймал такси. Я похвалил, уходя, лемпереровскую грушевую водку – мы с ним практически прикончили бутылку. Конечно, я, как и все, за последние годы и даже десятилетия успел послушаться разговоров на эти темы. Выражение “после меня хоть потоп”, приписываемое то Людовику XV, то его любовнице маркизе де Помпадур, очень точно передавало мое настроение, но тут впервые у меня мелькнула тревожная мысль: потоп вполне мог случиться до моей кончины. Я, разумеется, не рассчитывал на счастливый конец своей жизни – почему, собственно, я должен избежать горя, немощи и страданий? – но до сих пор я хотя бы надеялся, что покину этот мир ненасильственным путем.

Может быть, он просто паникер? Увы, я не особенно в это верил; Лемперер произвел на меня впечатление очень серьезного человека. На следующее утро я запустил поиск по *Rutube*, но о площади Клиши мне ничего не попало. Правда, я наткнулся на один клип, довольно жуткий, хотя там не было никакой крови: полтора десятка мужиков с автоматами, все в черном, в капюшонах и масках, медленно двигались клином на фоне какого-то городского пейзажа, очень напоминавшего эспланаду в Аржантее. Видео было сделано явно не мобильным телефоном: фокус получился очень четким, и к тому же снимавший использовал режим замедленной съемки... Это шествие, неспешное и величавое, снятое с нижней точки, совершалось с единственной целью: утвердить свое присутствие и заявить о взятии под контроль данной территории. В случае межэтнического конфликта я автоматически попаду в лагерь белых, и впервые, выйдя за покупками, я мысленно вознес хвалу китайцам, которые ухитрились еще в пору возникновения своего квартала помешать водворению в нем негров и арабов, да и любых других некуитайцев, за исключением, пожалуй, немногочисленных вьетнамцев.

Впрочем, осторожности ради, следовало бы подготовить отходные пути, окопаться на случай стремительного ухудшения ситуации. Мой отец жил в собственном шале в горах Экрена и недавно (ну, по крайней мере, я недавно об этом узнал) завел себе новую спутницу жизни. Моя депрессивная мать торчала в своем Невере в обществе любимого

французского бульдога. И я уже лет десять не получал от них никаких вестей. Оба бэби-бумера всегда были законченными эгоистами, и я едва ли мог надеяться, что они примут меня с распростертыми объятиями. Порой я задумывался о том, увижу ли родителей, пока они еще живы, но ответ на этот вопрос всегда был отрицательным, скорее всего, даже гражданской войне не под силу что-либо тут изменить, и они обязательно найдут предлог, чтобы отказать меня приютить; в предлогах они недостатка никогда не испытывали. Ну, у меня еще оставались друзья, несколько человек, не так уж много, честно говоря, да и с ними я почти потерял связь; или вот Алиса – я наверняка мог считать ее другом. Но вообще-то, расставшись с Мириам, я остался в полнейшем одиночестве.

15 мая, воскресенье

Я всегда любил вечерний выборный марафон; думаю даже, что после финалов чемпионата мира по футболу это моя любимая телепередача. Конечно, саспенс тут послабее, выборы все же следуют особому литературному принципу, свойственному историям, развязка которых понятна с первой минуты, но невероятное разнообразие выступающих (политологи, “авторитетные” политические обозреватели, толпы ликующих и рыдающих активистов в штабах своих партий... и наконец, рассудительные или взволнованные политические деятели, выступающие с заявлениями “по горячим следам”), а также всеобщее возбуждение и вправду создавало ту редкую, драгоценную и столь телегеничную иллюзию, что ты становишься соучастником исторического события в прямом эфире.

Наученный горьким опытом последних дебатов, которые я практически прозевал из-за микроволновки, я на этот раз закупил тараму, хумус, блинчики и икру и еще накануне поставил в холодильник две бутылки “Рюлли”. Как только в 19 часов 50 минут на экране появился Давид Пюжадас, сразу стало ясно, что на этот раз вечер превзойдет все мои ожидания и что мне предстоит захватывающее зрелище. Пюжадасу не изменила профессиональная выдержка, но по блеску в его глазах все было понятно и без слов: уже известные ему результаты, которые он сможет объявить через десять минут, станут для всех невероятным сюрпризом; политический пейзаж Франции изменится до неузнаваемости.

“В стране произошел тектонический сдвиг”, – заявил он торжественным голосом в тот момент, когда на экране возникли первые

цифры. Национальный фронт лидировал с большим отрывом, получив 34,1 % голосов, чего, в общем, и следовало ожидать, ведь все последние опросы предсказывали это уже который месяц, кандидатка от крайне правых лишь немного подросла за последние недели кампании. Но ей буквально наступали на пятки кандидаты от Социалистической партии с 21,8 % и от Мусульманского братства с 21,7 %; их разделяло такое ничтожное число голосов, что ситуация могла кардинально измениться, даже должна была кардинально измениться несколько раз за этот вечер, по мере того как будут подтягиваться результаты голосования на избирательных участках Парижа и других больших городов. Жан-Франсуа Копе со своими 12,1 % окончательно выбыл из гонки.

Кандидат от ЮМП^[4] появился на телеэкранах только в 21.50. Изможденный, небритый, со съехавшим набок галстуком, Копе более чем когда-либо производил впечатление человека, которого долго допрашивали с пристрастием. Со страдальческим смирением он признал неудачу своей партии, даже полный ее провал, ответственность за который полностью лежит на его совести; при этом, в отличие от Лионеля Жоспена в 2002-м, он совершенно не собирался уходить из большой политики. Что же до рекомендаций по голосованию во втором туре, то их вообще не последовало; политическое руководство ЮМП должно было собраться на этой неделе, чтобы принять какое-то решение.

К 22 часам ни один из двух соперников так и не получил преимущества, по последним результатам они шли ноздря в ноздю, и эта неопределенность избавила кандидата социалистов от необходимости выступить с заявлением, которое, естественно, далось бы ему нелегко. Возможно ли, чтобы обе партии, определявшие французскую политическую жизнь с момента возникновения Пятой республики, были сметены с политической арены? Подобное предположение казалось просто невероятным, и возникало ощущение, что все обозреватели, с невероятной скоростью сменявшие друг друга в студии, вплоть до Давида Пюжадаса – а уж этого человека, входившего, по слухам, в ближайшее окружение Манюэля Вальса, вряд ли можно было заподозрить в симпатии к исламу, – в глубине души желают этого. Кристоф Барбье, до поздней ночи гламурно мелькавший своим шарфом и переходивший с канала на канал так проворно, словно он обладал даром вездесущности, мог, безусловно, считаться королем вечера, – он играючи затмил и мрачного Рено Дели, имевшего бледный вид при объявлении результатов, которые его газета не сумела предвидеть, и даже Ива Треара, обычно куда более задиристого.

И только после полуночи, когда я допивал вторую бутылку “Рюлли”, были объявлены окончательные результаты: Мохаммед Бен Аббес, кандидат от Мусульманского братства, получил 22,3 % голосов и поднялся на второе место. Кандидат от социалистов, набрав 21,9 %, сошел с дистанции. Манюэль Вальс, выступив с краткой речью, крайне сдержанно поприветствовал победивших кандидатов и отложил принятие какого-либо решения до заседания руководящего совета Социалистической партии.

18 мая, среда

Через два дня, придя в университет на лекции, я впервые почувствовал, что нечто действительно может произойти, что политическая система, в которой я с детства привык существовать, уже довольно давно трещавшая по всем швам, грозит взорваться в одно мгновение. Трудно сказать, отчего вдруг у меня возникло такое ощущение. Может быть, из-за поведения моих магистрантов: обычно вялые и аполитичные, они выглядели сегодня напряженными, взволнованными и, судя по всему, пытались при помощи своих смартфонов и планшетов уловить хотя бы обрывки новостей; в любом случае они слушали меня еще невнимательнее, чем всегда. А может, еще из-за походки девушек в паранджах, более уверенной и неторопливой, чем раньше, – они не жались по углам в коридорах, а гордо вышагивали по трое, словно уже считали себя хозяйками положения.

Зато меня поразила безучастность моих коллег. Казалось, все происходящее ничуть не встревожило их – при чем тут они? – и это только подтверждало мои давние предположения: те, кому удастся достичь статуса университетского преподавателя, даже вообразить себе не могут, что изменение политической ситуации способно хоть как-то отразиться на их карьере; они чувствуют себя абсолютно неуязвимыми.

В конце дня по дороге к метро, свернув с улицы Сантей, я увидел Мари-Франсуазу. Мне пришлось ускорить шаг и даже перейти на бег, чтобы догнать ее; поравнявшись с ней и наспех поздоровавшись, я спросил прямо:

– Как ты думаешь, наши коллеги правы, что сохраняют такое спокойствие? Ты действительно считаешь, что мы в безопасности?

– А! – воскликнула она с усмешкой злобного карлика, сделавшей ее еще уродливей, и закурила “Житан”. – Я вот как раз думаю, когда же кто-нибудь очнется на этом чертовом филфаке. Что ты, мы очень даже в

опасности, можешь мне поверить, уж кто-кто, а я-то знаю, что говорю... – Помолчав несколько секунд, она пояснила: – У меня муж работает в УВБ^[5].

Я оторопело взглянул на нее: мы с ней периодически пересекались уже десять лет, и я впервые осознал, что она когда-то была женщиной и, в каком-то смысле, даже оставалась ею и что некий мужчина в один прекрасный день сумел возжелать эту приземистую коротышку, прямо земноводное какое-то. К счастью, она неверно истолковала выражение моего лица.

– Знаю... – с довольным видом сказала она, – все всегда удивляются. Ты вообще знаешь, что такое УВБ?

– Спецслужбы? Что-то вроде УЗТ^[6]?

– УЗТ больше не существует. Ее слили с Общей разведкой, образовав ЦСВБ^[7], которая впоследствии стала УВБ.

– Так он типа шпион, твой муж?

– Не совсем, шпионы сидят скорее в УВР^[8] и подчиняются министру обороны. А УВБ это часть МВД.

– Тогда это политическая полиция?

Она снова улыбнулась, сдержаннее на этот раз, что изуродовало ее чуть меньше.

– Официально они, конечно, против такого термина, но в принципе, да, это оно и есть. Они следят за экстремистскими движениями, которые могут в перспективе перейти к терактам, это одна из основных их функций. Хочешь, зайдем к нам выпить, он все тебе подробно расскажет. Ну, расскажет то, что имеет право рассказать, я толком не знаю, у них все постоянно меняется по ходу дела. В любом случае после выборов ожидаются существенные пертурбации, которые затронут нас напрямую.

Они жили на улице Верменуз, в пяти минутах ходьбы от университета. Ее муж совсем не был похож на сотрудника спецслужб, как я их себе представлял (а кого я себе представлял? Этакого корсиканца, помесь бандита с продавцом дешевой выпивки?). Улыбчивый чистюля с таким гладким черепом, что казалось, он специально наводит на него глянец, предстал передо мной в домашней куртке в шотландскую клетку – в рабочее время, подумал я, он наверняка нацепляет бабочку и, возможно, носит жилетку, – одним словом, от него так и веяло старомодной элегантностью. Он сразу поразил меня невероятной живостью ума; видимо, это единственный выпускник Эколь Нормаль, который, получив степень агреже^[9], поступил в Высшую школу полиции.

– Как только меня назначили комиссаром, – сказал он, наливая мне портвейну, – я попросился в Общую разведку; призвание почувствовал, что ли... – добавил он, усмехнувшись, как будто его пристрастие к работе в спецслужбах было всего лишь невинной причудой.

Он надолго замолчал, сделал глоток портвейна, потом еще один, и продолжил:

– Переговоры между социалистами и Мусульманским братством проходят гораздо более напряженно, чем мы думали. При этом мусульмане готовы отдать левым добрую половину министерств – в том числе ключевых, например, министерство финансов и МВД. Никаких расхождений в плане экономики и налоговой политики у них нет, да и в том, что касается безопасности, тоже, к тому же, в отличие от своих партнеров-социалистов, они в состоянии навести порядок в проблемных пригородах. Конечно, в области внешней политики незначительных разногласий не избежать, они хотят, например, чтобы Франция безоговорочно осудила Израиль, но в этом как раз левые охотно пойдут им навстречу. Настоящая загвоздка и камень преткновения – это министерство образования. Эта сфера традиционно является приоритетной для социалистов, ведь одни лишь преподаватели всегда хранили им верность и поддерживали их даже на краю пропасти; только вот теперь у их противников ставки еще выше, чем у них самих, и на уступки они не пойдут ни при каких обстоятельствах. Мусульманское братство – партия особая, это вам известно: они достаточно равнодушны к привычным для нас политическим целям и задачам. А главное, они не отводят центральное место экономике. Первостепенное значение для них имеют демография и образование. Победа останется за группой населения с более высоким уровнем рождаемости, которой удастся обеспечить преемственность своих ценностей, вот и вся наука, считают они, а экономика и даже геополитика – это дешевые понты: кто получит контроль над детьми, получит контроль над будущим, и точка. Поэтому основной и единственный пункт, по которому они хотят во что бы то ни стало добиться своего, – это школьное образование.

– А чего они хотят?

– Ну, Мусульманское братство полагает, что каждый французский ребенок должен иметь возможность получать исламское образование на всех этапах школьного обучения. А исламское образование очень отличается от светского, со всех точек зрения. Во-первых, оно ни в коем случае не допускает совместного обучения, а женщинам дозволяется получать только определенные специальности. Конечно, в глубине души

они бы предпочли, чтобы девочки по окончании начальной школы направлялись на курсы домоводства и как можно скорее выходили замуж, незначительное их меньшинство до замужества могло бы посвятить себя изучению литературы и искусств, – вот их модель идеального общества. Кроме того, все без исключения преподаватели должны быть мусульманами. Необходимо также соблюдать особый режим питания в школьных столовых и выделить время на пять ежедневных молитв, но, главное, школьная программа будет составляться в соответствии с учением Корана.

– И вы думаете, они до чего-то договорятся?

– У них нет выбора. Если они не придут к соглашению, Национальный фронт наверняка победит на выборах. Да даже если и придут, – вы так же, как и я, видели результаты опросов, – Национальный фронт пока что сохраняет все шансы на успех. И хотя Коппе и заявил сейчас, что лично он воздержится, восемьдесят пять процентов избирателей ЮМП проголосуют за Национальный фронт. Разрыв будет небольшой, совсем небольшой, почти пятьдесят на пятьдесят, типа того... Нет, единственное, что остается, – продолжал он, – это ввести две параллельные системы обучения. Кстати, по вопросу о полигамии они уже заключили договор, который смогут взять за образец. Гражданский брак, союз между двумя людьми, мужчиной и женщиной, останется неизменным. Мусульманский брак, в том числе полигамный, не будет записываться в акты гражданского состояния, но, считаясь законным, даст право на получение пособий и налоговых льгот.

– Вы уверены? Все-таки это черт знает что...

– Совершенно уверен. Это уже было зафиксировано в ходе переговоров; впрочем, все вышесказанное вполне вписывается в рамки теории о “шариате меньшинства”, которую уже давно отстаивают “Братья-мусульмане”. Так вот, и в вопросах образования они могут придумать нечто подобное. Государственная школа останется такой, как она есть, общедоступной, но денег будет меньше, бюджет министерства образования сократится минимум втрое, и на сей раз учителя ничего не смогут поделать: в нынешней экономической ситуации любые бюджетные сокращения, несомненно, получают широкую поддержку. Вместе с тем будет внедрена целая система частных мусульманских школ, выдающих полноценные аттестаты, – и вот этим школам как раз и достанутся частные пожертвования. Понятное дело, в скором времени государственные школы захиреют, и все родители, хоть сколько-нибудь озабоченные будущим своих детей, запишут их в мусульманские учебные заведения.

– То же самое произойдет и с университетами, – вмешалась его жена. – Они, например, спят и видят, как бы прибрать к рукам Сорбонну. Саудовская Аравия готова предоставить им практически неограниченные дотации, так что мы станем одним из богатейших университетов мира.

– И Редигер его возглавит? – спросил я, вспомнив наш недавний разговор.

– Его кандидатура напрашивается сама собой. Он уже лет двадцать занимает промусульманскую позицию.

– Если мне не изменяет память, он даже принял ислам, – заметил ее муж.

Я залпом допил свой стакан, и он наполнил его снова; да уж, скучать нам не придется.

– Видимо, все это страшная тайна, – сказал я, подумав. – Не понимаю, почему вы решили со мной поделиться.

– В обычное время я бы, конечно, рта не раскрыл. Просто сейчас произошло уже множество утечек – это-то нас больше всего и беспокоит. Все, что я вам сейчас рассказал, и многое сверх того я прочел в идентитаристских интернет-сообществах, ну, в тех, к которым мы смогли получить доступ. – Он недоуменно покачал головой. – Установи они прослушку даже в самых защищенных залах МВД, и то вряд ли узнали бы больше. А хуже всего то, что они пока эту бомбу никак не используют: ни тебе шума в прессе, ни публичных разоблачений; они явно выжидают. Ситуация небывалая и потому крайне тревожная.

Я попытался расспросить его поподробнее о движении идентитаристов, но, судя по всему, его мысли были уже далеко.

– Один мой коллега на факультете, – все же сказал я, – был связан с ними, но потом совершенно от них отошел.

– Ну да, все они так говорят, – саркастически хмыкнул он.

А когда я завел разговор об оружии, которым, вроде бы, оснащены некоторые из этих групп, он, молча отпив портвейна, пробурчал:

– Да, ходили слухи, что их финансируют русские олигархи... Но никаких доказательств не нашлось.

На этом он умолк окончательно. Некоторое время спустя я откланялся.

19 мая, четверг

На следующий день, направляясь в университет, хотя делать мне там было совершенно нечего, я набрал номер Лемперера. По моим расчетам,

приблизительно в это время заканчивалась его лекция, и он действительно ответил. Я предложил пойти выпить; ему не нравились бары поблизости от университета, и он в ответ предложил встретиться в кафе “Дельмас” на площади Контрэскарп.

По дороге, на улице Муффтар, я вспомнил, о чем говорил муж Мари-Франсуазы: а вдруг и правда мой юный коллега знает больше, чем сказал мне? Может, он все еще напрямую связан с этим движением? Кафе “Дельмас” с глубокими кожаными креслами, темным паркетом и красными портъерами было вполне в его духе. В бар напротив, уставленный фальшивыми книжными шкафами жуткого вида, он ни за что бы не зашел; это был человек со вкусом. Он заказал шампанское, я же, ограничившись кружкой бочкового “Леффе”, вдруг сломался, почувствовав, что страшно устал от собственной интеллигентности и сдержанности, и спросил его в лоб, не дождавшись даже возвращения официанта:

– В такой нестабильной политической ситуации... Скажите честно, как бы вы поступили на моем месте?

Он улыбнулся моему порыву, но ответил ровным тоном:

– Во-первых, я сменил бы для начала банковский счет.

– Счет? Почему?.. – Я вдруг осознал, что почти выкрикнул эти слова, наверное, я был очень напряжен, сам того не замечая.

Вернулся официант с пивом и шампанским, и, помолчав, Лемперер ответил:

– Ну не факт, что недавние метаморфозы Соц-партии придутся по вкусу ее электорату...

И вот тут я понял, что он все *знает* и по-прежнему играет какую-то роль в этой организации, не исключено, что решающую роль: секретная информация, просочившаяся в идентитарную паутину, была ему прекрасно известна, возможно, он сам и распорядился попридержать ее до поры до времени.

– В таких условиях, – мягко продолжил он, – победа Национального фронта во втором туре вполне реальна. Они просто обязаны, во что бы то ни стало обязаны – они же столько всего наобещали своим избирателям, среди которых преобладают суверенисты, – выйти из Евросоюза и европейской валютной системы. В долгосрочной перспективе последствия этого для французской экономики будут, возможно, весьма благоприятными, но поначалу нас ждут довольно ощутимые финансовые судороги; неизвестно, устоят ли французские банки, даже самые надежные из них. Поэтому я бы посоветовал вам открыть счет в иностранном банке – лучше всего, пожалуй, в английском, например в *Barclays* или *HSBC*.

- И... все?
- Это уже немало. А еще... у вас есть какое-нибудь место в провинции, где вы могли бы отсидеться?
- Да нет, вряд ли.
- И все же я рекомендовал бы вам уехать как можно быстрее; снимите какой-нибудь отельчик в деревне. Вы ведь живете в чайна-тауне? Ну, в этом квартале вряд ли начнутся грабежи и серьезные беспорядки, и все же на вашем месте я бы уехал. Возьмите отпуск, подождите немного, пока все не устаканится.
- Я чувствую себя крысой, бегущей с корабля.
- Крысы – очень умные млекопитающие, – ответил он степенно, с легкой иронией в голосе. – Они, вполне возможно, переживут человека; во всяком случае, их социальный строй гораздо прочнее нашего.
- Учебный год еще не закончился, в ближайшие две недели у меня занятия.
- Ну знаете!.. – сказал он на этот раз с откровенной улыбкой, чуть ли не с насмешкой. – За это время многое может произойти, предугадать, как все повернется, практически невозможно, но я почти уверен, что учебный год не закончится в нормальной обстановке!

Он замолчал, спокойно попивая шампанское, и я понял, что больше он ничего не скажет; на его губах по-прежнему играла чуть презрительная улыбка, но, как ни странно, я начинал испытывать к нему что-то вроде симпатии. Я заказал еще одно пиво, на сей раз с ароматом малины; у меня не было ни малейшего желания идти домой, никто меня там не ждал. Интересно, есть ли у него спутница жизни или какая-никакая любовница, подумал я; может, и есть. Он был своего рода *серый кардинал*, политический лидер более или менее подпольного движения; многие девушки падки на такое, это общеизвестный факт. Правда, попадают и девушки, падкие на специалистов по Гюисмансу. Один раз мне пришлось беседовать с юной особой, очень хорошенькой и соблазнительной, которая предавалась грезам о Жане-Франсуа Копе; я потом несколько дней в себя прийти не мог. Право же, каких только девушек не встретишь в наши дни.

20 мая, пятница

На следующий день я открыл счет в отделении *Barclays* на авеню Гоблен. Перевод средств будет произведен в течение рабочего дня,

сообщила мне служащая банка; к моему величайшему изумлению, мне практически сразу выдали кредитную карточку.

Я решил вернуться домой пешком, все бумажки, необходимые для открытия нового счета, я заполнил машинально, на автопилоте, и теперь мне надо было подумать. Когда я вышел на площадь Италии, у меня вдруг сжалось сердце при мысли, что все это может исчезнуть. Может исчезнуть юная курчавая негритянка с туго обтянутой джинсами задницей, стоявшая на остановке 11-го автобуса; она даже наверняка исчезнет либо подвергнется серьезному перевоспитанию. На площадке перед торговым центром “Итали-2”, как всегда, толклись сборщики разнообразных пожертвований, на сей раз для Гринписа – они тоже исчезнут; в ту секунду, когда молодой бородатый шатен с длинными волосами подошел ко мне с пачкой проспектов, я моргнул – и он как будто исчез досрочно, так что я прошел мимо, не замечая его, в стеклянные двери, ведущие на первый этаж центра. Внутри все оказалось не так однозначно... Хозяйственный магазин “Брикорама” никуда не денется, а вот дни “Дженнифер”, бесспорно, сочтены – ничего из того, что у них продается, мусульманской девочке не подойдет. Зато бутику *Secret stories*, торговавшему фирменным бельем по сниженным ценам, волноваться нечего: подобные магазины в торговых галереях Эр-Рияда и Абу-Даби пользуются неувядающим успехом, *Chantal Thomass* и *La Perla* тоже могли с легким сердцем ждать воцарения ислама. Богатые саудовки, облаченные днем в непроницаемую черную паранджу, вечером перерождаются в райских птичек, наряжаясь в грации, ажурные лифчики и стринги, украшенные разноцветными кружевами и стразами; западные женщины, как раз наоборот, очень элегантные и сексуальные днем, как им и положено по социальному статусу, вернувшись вечером домой, совершенно распускаются и в полном изнеможении, махнув рукой на всякую перспективу обольщения, облачаются в мешковатую домашнюю одежду. Внезапно, очутившись у прилавка *Rapid'Jus* (торговавшего сложносочиненными коктейлями типа кокос-экзотические фрукты-гуаява, манго-личи-гуарана, их там было больше десятка, и содержание витаминов зашкаливало), я вспомнил Брюно Деланда. Мы не виделись с ним больше двадцати лет, да я, впрочем, никогда и не вспоминал о нем. Мы одновременно писали диссертации, и у нас завязались, можно сказать, почти приятельские отношения, он занимался Лафоргом и сочинил вполне приличную работу, не более того, после чего немедленно прошел конкурс на должность налогового инспектора и женился на Аннелизе – не знаю, где он ее подцепил, на какой-нибудь студенческой вечеринке. Она работала в отделе маркетинга оператора сотовой связи и зарабатывала гораздо больше

мужа, зато у него, как говорится, была гарантированная занятость, они купили домик в Монтины-ле-Бретонне, у них уже тогда было двое детей, мальчик и девочка, он единственный из моих бывших соучеников завел себе нормальную семью, остальные бестолково метались – немножко *Meetic*^[10], чуть-чуть спид-дейтинга и одиночества через край, – я случайно столкнулся с ним в метро, и он пригласил меня на барбекю в ближайшую пятницу вечером, дело было в конце июня, они жили в доме с лужайкой, так что можно устраивать барбекю, придет кто-нибудь из соседей, но “никого с факультета”, – предупредил он.

Зря он затеял это в пятницу вечером, подумал я, едва ступив на лужайку и чмокнув его жену; она весь день работала и добиралась до дому еле живая, кроме того, она подседа на передачу “Ужинаем дома” на канале Мб, поэтому приготовила какие-то уж совсем заковыристые блюда, суфле из сморчков было заведомо обречено, но когда выяснилось, что не удастся даже гуакамоле, я решил, что она сейчас заплачет, их трехлетний сын вдруг развопился, а Брюно, который начал напиваться с приходом первых гостей, был не в состоянии даже переворачивать колбаски, поэтому я поспешил ей на выручку, и она, хоть и погрузилась уже в бездну отчаяния, бросила на меня обезумевший от благодарности взгляд; барбекю оказалось более сложным делом, чем я предполагал, бараньи отбивные с бешеной скоростью покрывались обугленной черноватой пленкой, не исключено, что канцерогенной, наверное, огонь был слишком сильным, но я ничего в этом не смыслил, и, вздумай я сунуть нос в это устройство, я бы еще, чего доброго, взорвал баллон с бутаном, и вот мы с ней одиноко стояли перед грудой обугленного мяса, а гости опустошали бутылки розового вина, не обращая на нас ни малейшего внимания, но тут я с облегчением увидел, что надвигается гроза, на нас уже упали первые капли, косые и ледяные, все дружно ринулись в гостиную, к столу с холодными закусками, и вечер продолжился без горячего блюда. В тот момент, когда она рухнула на диван, бросив враждебный взгляд на табуле, я задумался о жизни Аннелизы и вообще о жизни западных женщин. Утром, наверное, она укладывает волосы, тщательно одевается, в соответствии с требованиями своего профессионального статуса, думаю, она как раз скорее элегантна, чем сексуальна, хотя тут сложно угадать точную дозировку того и другого, и, видимо, она тратит на все это уйму времени, потом отводит детей в ясли, ее день заполнен рассылкой мейлов, телефонными звонками, разнообразными встречами, до дому она добирается часам к девяти вечера, совершенно разбитая (детей вечером забирает Брюно, он же их кормит ужином, поскольку у него график госслужащего), падая с ног, напяливает

бесформенную кофту и спортивные штаны и в таком виде предстает перед своим господином и повелителем, у которого наверняка возникает – просто не может не возникнуть – ощущение, что где-то его наебали, и у нее тоже возникает ощущение, что где-то ее наебали и что с годами ничего не изменится к лучшему, дети вырастут, профессиональные обязанности почти автоматически увеличатся, а уж об увядании плоти нечего и говорить.

Я ушел одним из последних и даже помог Аннелизе навести порядок, у меня не было ни малейшего желания завести с ней роман, что было бы вполне возможно – в ее ситуации, судя по всему, не было ничего невозможного. Я просто хотел продемонстрировать ей нечто вроде солидарности, вполне бесполезной солидарности.

Теперь Брюно и Аннелиза уже, я думаю, развелись, в наше время это стало обычным делом; столетие тому назад, в эпоху Гюисманса, они продолжали бы жить вместе и, в конце концов, может, и не были бы так уж несчастны. Вернувшись домой, я налил себе большой стакан вина и погрузился в “Семейный очаг”, по моим воспоминаниям это был лучший роман Гюисманса, и я сразу же ощутил удовольствие от чтения, после почти двадцатилетнего перерыва оно каким-то чудом осталось прежним. Пожалуй, никогда еще остывающее счастье старых супругов не было описано с такой нежностью:

Вскоре уделом Андре и Жанны стали безмятежные ласки, они с удовольствием иногда спали вместе, по-родственному, просто ложились рядом, чтобы побыть друг с другом и поболтать, а потом уснуть, спина к спине.

Красиво, конечно, но правдоподобно ли? И можно ли в наши дни рассматривать такую перепективу? Разгадка, очевидным образом, заключалась в чревоугодии:

Гурманство проникло в их жизнь, став новым увлечением взамен угасающей чувственности, это было сродни вожделению священников, которые, за неимением плотских радостей, издают вопль ликования при виде изысканных блюд и благородных вин.

Разумеется, в те времена, когда женщины сами покупали и чистили овощи, разделявали мясо и часами тушили рагу, такие нежные и

высококалорийные отношения вполне могли возникнуть; но по мере развития промышленной обработки продуктов те чувства забылись, впрочем, они, как откровенно признавался Гюисманс, служили весьма слабой компенсацией утеранных плотских удовольствий. Сам он в действительности никогда не сожительствовал с “кухаркой”, хотя, по мнению Бодлера, только они, наряду с “девками”, способны составить счастье литератора, – наблюдение тем более верное, что с годами “девка” вполне может превратиться в “кухарку”, именно в этом состоит ее сокровенная мечта и природная склонность. Он же, напротив, после своего “развратного” периода – относительно развратного, конечно, – резко свернул к монашеской жизни, но на этом я с ним расстался. Я достал с полки “На пути”, попытался прочесть насколько страниц, но снова углубился в “Семейный очаг”, нет, мне явно недоставало какой-то духовной жилки, а жаль, ибо монашеская жизнь существовала по-прежнему, не меняясь на протяжении столетий, тогда как кухарки – где их теперь возьмешь. При Гюисмансе они наверняка еще водились, но в литературных кругах, где он вращался, ему не суждено было с ними повстречаться. Кстати, филологический факультет для этого тоже не самая благоприятная среда. Вот Мириам, например, она же с годами не превратится в кухарку? Я начал размышлять на эту тему, но тут зазвонил мобильник, как ни странно, звонила она, я от удивления что-то невнятно забормотал, на самом деле я совершенно не ожидал, что она объявится. Я взглянул на будильник: было уже десять вечера, я был так поглощен чтением, что забыл даже поесть. Еще я отметил, что практически допил вторую бутылку вина.

– Мы могли бы... – она замялась, – я подумала, что мы могли бы увидеться завтра вечером.

– Завтра?..

– У тебя же день рождения. Ты что, забыл?

– Да. Совершенно забыл, честно говоря.

– И потом... – она снова смешалась, – мне еще кое-что надо тебе сказать. Короче, нам пора повидаться.

21 мая, суббота

Я проснулся в четыре утра – после звонка Мириам я дочитал “Семейный очаг”, все-таки это настоящей шедевр, – получилось, что я спал чуть больше трех часов. Женщину, которую всю свою жизнь искал

Гюисманс, он описал еще в возрасте двадцати семи – двадцати восьми лет в “Марте”, своем первом романе, изданном в Брюсселе в 1876 году Будучи в обычное время кухаркой, она должна сохранить способность в определенные часы преобразаться в девку, уточняет он. Преобразиться в девку, казалось бы, не самая сложная задача, уж попроще, чем правильно приготовить беарнский соус; тем не менее все его поиски такой женщины были тщетны. Да и я пока что преуспел в этом не больше. Мне исполнилось сорок четыре года, и само по себе на меня это не произвело никакого впечатления – вот уж абсолютно проходная дата; но именно в этом возрасте, в сорок четыре года, Гюисманс пришел к вере. С 12 по 20 июля 1892-го он жил в обители траппистов Иньи, в департаменте Марна, это был первый его проезд туда. Четырнадцатого июля он исповедался, поборов мучительные сомнения, детально описанные в романе “На пути”. Пятнадцатого, впервые с детских лет, причастился.

Работая над диссертацией о Гюисмансе, я провел неделю в аббатстве Лигюже, где он стал когда-то облатом, и еще одну неделю в аббатстве Иньи. Оно было полностью разрушено во время Первой мировой войны, но тем не менее мое пребывание там очень мне помогло. Внутреннее убранство и мебель – хоть и обновленные, конечно, – сохранили простоту и аскетизм, так поразившие когда-то Гюисманса; расписание многочисленных ежедневных молитв и служб, начиная с *Angelus Domini* в четыре утра до вечерней *Salve Regina*, осталось тем же. Трапезы происходили в полной тишине, что, разумеется, выгодно отличало их от университетского ресторана; еще я помнил, что монашки изготавливали шоколад и печенье “макарон”, и их продукция, рекомендованная путеводителем “Ле Пти Фюте”, рассылалась по всей Франции.

Я прекрасно понимал, почему жизнь в монастыре может показаться столь привлекательной, даже если – и я сознавал это – наши с Гюисмансом взгляды во многом расходились. Я никак не мог ни ощутить его откровенную неприязнь к плотским радостям, ни даже вообразить ее. Тело мое вообще было прибежищем всякого рода мучительных недугов – мигреней, кожных заболеваний, зубной боли и геморроя, – которые шли друг за другом непрерывной чередой, практически не давая мне передышки, притом что мне было всего-то сорок четыре года! Что же со мной будет в пятьдесят, шестьдесят и так далее!.. Я, что ли, превращусь в некую совокупность медленно разлагающихся органов, а жизнь моя, мрачная, безрадостная и пошлая, станет бесконечной пыткой? Мой член, по сути, являлся единственным органом, всегда отзывавшимся в моем сознании не болью, а наслаждением. Скромных размеров, но крепкий, он

всегда верно служил мне, хотя, возможно, как раз наоборот, я был у него в услужении, эта мысль имела право на существование, но в таком случае его кнут был пряником: он никогда не отдавал мне приказов, лишь иногда беззлобно, не позволяя себе язвить или гневаться, подталкивал меня к более активному участию в общественной жизни. Я знал, что сегодня вечером он будет ходатайствовать за Мириам, у них с Мириам сложились прекрасные отношения, Мириам всегда выказывала ему любовь и уважение, что доставляло мне несказанное удовольствие. А источников удовольствия, признаться, у меня совсем не было; в сущности, только этот мне еще и оставался. Мой интерес к интеллектуальной жизни быстро угасал; моя общественная жизнь радовала меня не больше, чем телесная, поскольку точно так же сводилась к потоку мелких неурядиц – засорившаяся раковина, барахлящий интернет, штрафы за неправильную стоянку, ошибки в налоговой декларации, жуликоватая домработница, – которые тоже шли друг за другом непрерывной чередой, практически не давая мне передышки. В монастыре, надо полагать, этих забот во многом удастся избежать, сбросив с себя бремя индивидуального существования. От удовольствий там тоже надо отказаться, но в таком выборе есть свой смысл. А жаль, подумал я, не отрываясь от книги, что Гюисманс так подчеркивает в “На пути” свое отвращение к былым загулам; вот тут, возможно, он слегка и покривил душой. Подозреваю, что в монастыре его привлекало не столько избавление от погони за плотскими удовольствиями, сколько освобождение от изматывающей, тоскливой вереницы мелких бытовых хлопот, от всего того, что он мастерски описал в романе “По течению”. В монастыре, по крайней мере, вам гарантируют стол и кров, и в качестве бонуса вечную жизнь – при благоприятном стечении обстоятельств.

Мириам позвонила в дверь в семь часов вечера.

– С днем рождения, Франсуа... – сказала она с порога тоненьким голоском и, кинувшись на меня, поцеловала в губы, поцелуй ее был долгим, сладострастным, наши языки и губы слились воедино. Возвращаясь вместе с ней в гостиную, я заметил, что она выглядит еще сексуальнее, чем в прошлый раз. На ней была другая черная мини-юбка, еще короче прежней, и к тому же чулки – когда она села на диван, я углядел черную пряжку на поясе для подвязок, блестящую на ослепительно-белом бедре. Ее рубашка, тоже черная, оказалась совсем прозрачной, сквозь нее было очень хорошо видно, как волнуется ее грудь, – я осознал вдруг, что мои пальцы помнят прикосновения к венчикам вокруг сосков, она

растерянно улыбнулась, и на мгновение я ощутил в ней какое-то смятение и обреченность.

– А подарок ты мне принесла? – Я попытался сказать это весело, чтобы разрядить обстановку.

– Нет, – серьезно ответила она, – я не нашла ничего, что бы мне действительно понравилось.

Помолчав еще немного, она вдруг широко раздвинула ноги; трусов она не надела, а юбка была такая короткая, что сразу обнажился лобок, выбритый и беззащитный.

– Я возьму в рот, – сказала она, – тебе понравится. Иди ко мне на диван...

Я подчинился и дал ей себя раздеть. Она опустилась передо мной на колени и для начала медленно и нежно провела языком вокруг моего ануса, а потом взяла меня за руку и заставила подняться. Я прислонился спиной к стене. Она снова встала на колени и принялась облизывать мне яйца, не забывая при этом драть мне быстрыми рывками.

– Когда захочешь, я возьму в рот... – повторила она, на секунду прервавшись. Я подождал еще немного, но сопротивляться уже стало невозможно, и я сказал: “Давай”.

Я посмотрел ей прямо в глаза за мгновение до того, как она коснулась меня языком, и от этого зрелища завелся еще больше; она была в странном состоянии, сродни какому-то сосредоточенному исступлению, ее язык метался вокруг моего члена, то касаясь его на лету, то медленно нажимая сверху; левой рукой она стиснула его снизу, слегка задевая мне яйца кончиками пальцев правой руки, волны наслаждения захлестывали меня с головой, я едва держался на ногах и, похоже, был на грани обморока. За секунду до того, как сорваться на крик, мне удалось выдавить из себя: “Стой-стой...” – чуть слышным, изменившимся голосом, который я сам с трудом узнал.

– Не хочешь кончить мне в рот?

– Не сейчас.

– Ладно. Надеюсь, это значит, что тебе захочется трахнуть меня чуть позже. Давай съедим что-нибудь, а?

На этот раз я заказал суши заблаговременно, и они уже несколько часов томились в холодильнике; кроме того, я поставил охлаждаться две бутылки шампанского.

– Знаешь, Франсуа, – сказала она, сделав первый глоток, – я не шлюха какая-нибудь и не нимфоманка. Я тебя так сосу, потому что я люблю тебя. Люблю по-настоящему. Ты в курсе?

Да, я был в курсе. А еще я понимал, что она чего-то недоговаривает. Я посмотрел на нее долгим взглядом, тщетно пытаюсь придумать, с чего начать. Она допила шампанское, вздохнула, налила себе второй бокал и выпалила:

– Мои родители решили уехать из Франции.

Я онемел. Она выпила шампанское и, прежде чем продолжить, налила себе еще.

– Они эмигрируют в Израиль. Мы улетаем в Тель-Авив в эту среду. Они не хотят даже дожидаться второго тура. Ужас в том, что они все организовали тайком от нас, не сказав нам ни слова: открыли счет в израильском банке и сняли там по интернету квартиру; отец оформил пенсию, они выставили на продажу дом, и все по-тихому. Ну, мой брат с сестрой еще маленькие, это я могу понять, но мне-то двадцать два года, и они меня ставят перед свершившимся фактом!.. Они не заставляют меня ехать с ними, так что, если я упрусь, они снимут мне комнату в Париже; но ведь все равно скоро каникулы, и я чувствую, что не могу сейчас их бросить, во всяком случае, не так сразу, они будут очень нервничать. Я как-то не обратила внимания, но в последние месяцы они сменили круг общения и теперь видятся только с евреями. Проводят вместе вечера, подбадривают друг друга, так что уедут не они одни, по крайней мере, четверо или пятеро из их друзей тоже все распродали, чтобы переселиться в Израиль. Я с ними как-то проговорила всю ночь напролет, но они стоят насмерть, уверяют, что во Франции произойдет что-то ужасное в отношении евреев, странно, что они спохватились на старости лет, им ведь уже за пятьдесят, а я сказала, что это ужасная глупость, в Национальном фронте уже давно нет ничего антисемитского!..

– Ну не так уж и давно. Ты еще слишком молодая и не можешь этого помнить, но ее папаша, Жан-Мари Ле Пен, продолжал старинную традицию крайне правых. Это законченный кретин, совсем темный, он наверняка не читал ни Дрюмона, ни Морраса, но, думаю, был о них наслышан, эти имена входили в его кругозор. Дочке они, конечно, уже ничего не говорят. При этом даже если на выборах победит мусульманин, я не думаю, что тебе стоит чего-то опасаться. Он все-таки заключил союз с Социалистической партией и не может делать все, что ему заблагорассудится.

– Ну... – она с сомнением покачала головой, – в отличие от тебя, я на это смотрю не так оптимистически. Евреям не может быть хорошо, когда к власти приходит мусульманская партия. Что-то я не припоминаю обратных примеров.

Я притих; в сущности, я не так уж хорошо знал историю, в лицее я не слишком вникал, а потом мне так и не удалось дочитать до конца хоть одно историческое исследование.

Она подлила себе еще шампанского. Хорошая мысль: учитывая обстоятельства, не мешало бы выпить, да и шампанское оказалось неплохое.

– Мои брат и сестра будут дальше учиться там в лицее; я тоже смогу записаться в Тель-Авивский университет, мне там зачтут некоторые предметы. Но что я буду делать в Израиле? Я ни слова не знаю на иврите. Моя страна – это Франция.

Ее голос чуть дрогнул, я чувствовал, что она вот-вот расплачется.

– Я люблю Францию, – сказала она сдавленным голосом. – Я люблю... ну не знаю... я люблю сыр!

– Сыр у меня есть! – Я вскочил, исполнив шутовское антраша, чтобы снять напряжение, и порывлся в холодильник: в самом деле, я же купил сен-марселен, конте, блё-де-косс... Я открыл еще бутылку белого; она не обратила на нее никакого внимания.

– И потом... и потом, я не хочу, чтобы у нас с тобой все закончилось, – сказала она и разрыдалась.

Я встал и обнял ее; мне нечего было ей сказать в утешение. Я отвел ее в спальню и снова обнял. Она продолжала тихонько всхлипывать.

Я проснулся около четырех утра; благодаря полной луне в комнате все было отлично видно. Мириам лежала на животе в одной футболке. По бульвару проезжали редкие машины. Через две-три минуты неторопливо подъехал пикап “рено-трафик” и остановился у высотки. Из него вышли покурить два китайца, мне показалось, что они изучают окрестности; потом без всякой видимой причины они снова сели в автомобиль и поехали в сторону площади Италии. Я вернулся в кровать, погладил Мириам по попе; она прижалась ко мне, не просыпаясь.

Я перевернул ее на спину, раздвинул ей ноги и стал ласкать ее; она почти сразу намокла, и я вошел в нее. Она всегда любила такие простые позы. Я приподнял ее за бедра, чтобы проникнуть глубже, и начал двигаться в ней. Принято считать, что женский оргазм – сложная и загадочная штука; но лично мне еще менее понятен механизм моего собственного оргазма. Я сразу почувствовал, что на этот раз смогу сдерживаться столько, сколько потребуется, до бесконечности притормаживая растущее удовольствие. Я двигался плавно, не уставая, через несколько минут она застонала, потом закричала, а я продолжал, не

вынимая, продолжал, даже когда она стала сжимать мой член изнутри, я дышал размеренно, легко, мне казалось, я вечен, она издала долгий стон, и я рухнул на нее, обхватив ее руками, а она повторяла “мой дорогой... мой дорогой...” и плакала.

22 мая, воскресенье

Около восьми утра я опять проснулся, зарядил кофеварку и снова лег; рядом ровно дышала Мириам, и замедленный ритм ее дыхания вторил негромкому бульканью кофе, капающего сквозь фильтр. По лазурному фону скользили пухлые кучевые облака; они всегда были для меня облаками счастья, оттеняющими своей ослепительной белизной синеву неба – на детских рисунках такие облака проплывают над уютным домиком с трубой, из которой вьется дым, над зеленой травкой и цветами. Не знаю, что вдруг на меня нашло, но, налив себе первую чашку кофе, я сразу включил *iTélé*. Телевизор врубился на полную мощность, и я стал искать пульт, чтобы убрать звук. Но не успел, Мириам все-таки проснулась; как была, в одной футболке, она устроилась на диване в гостиной. Наша краткая передышка подошла к концу; я снова включил звук. Ночью в сеть слили информацию о секретных переговорах Социалистической партии и Мусульманского братства. По всем каналам, будь то *iTélé*, *BFM* или *LCI*, в бесконечном специальном выпуске речь шла только об этом. Пока что Манюэль Вальс никак не отреагировал на происходящее, зато на одиннадцать часов была запланирована пресс-конференция Мохаммеда Бен Аббеса.

Глядя на кандидата от мусульманской партии, жизнерадостного толстяка, то и дело подкальвывавшего журналистов, в голову не могло прийти, что, будучи одним из самых юных выпускников Политехнической школы, он одновременно с Лораном Вокье поступил в Национальную школу администрации на курс имени Нельсона Манделы. Бен Аббес напоминал скорее добродушного тунисца-бакалейщика из соседней лавки – собственно, таким и был его отец, пусть даже он торговал в Нейи-сюр-Сен, а не в восемнадцатом округе Парижа, и уж конечно не где-нибудь в Безоне или Аржантее.

В большей степени, чем кто-либо, заметил Бен Аббес на этот раз, он извлек пользу из республиканской меритократии и меньше, чем кто-либо, собирается посягать на систему, которой обязан всем, вплоть до наивысшей чести – избираться и быть избранным французским народом. Он вспомнил о крохотной каморке над бакалейной лавкой, где, бывало, готовил уроки;

вскользь, но с точно отмеренной дозой чувства, остановился на образе своего отца; по-моему, он был великолепен.

Но времена, надо признать, продолжал он, времена меняются. Все чаще семьи – не важно, еврейские, христианские или мусульманские – хотят, чтобы их дети получили образование, которое, не ограничиваясь простой передачей знаний, включало бы в себя и духовное обучение, соответствующее их вероисповеданию. Возврат религиозной составляющей лишь отражает глубинные изменения в обществе, и министерство образования не может не считаться с этим. Короче говоря, пора уже, расширив рамки государственной школы, обеспечить ее гармоничное сосуществование с величайшими духовными традициями нашей страны – мусульманской, христианской и иудейской.

Так, источая мед и патоку, он промурлыкал еще минут десять, после чего представители прессы получили возможность задать ему вопросы. Я давно заметил, что в присутствии Мохаммеда Бен Аббеса даже самые настырные и агрессивные журналисты застывали и размякали, словно под действием гипноза. Хотя, полагаю, вопросов на засыпку можно было ему задать немало: например, об упразднении совместного обучения или о том, что преподаватели должны *принять ислам*. С другой стороны, ведь у католиков тоже так заведено, или нет? Обязательно ли креститься, чтобы получить право преподавать в христианской школе? Задумавшись, я понял, что ничего об этом не знаю, и к концу пресс-конференции обнаружил, что попался на его удочку: я уже ни в чем не был уверен и не видел в его словах ничего тревожного или по-настоящему нового.

В полпервого ответный удар нанесла Марин Ле Пен. Ее снимали с низкой точки на фоне парижской мэрии, – оживленная, со свежей укладкой, она была чуть ли не хороша собой, что ни в какое сравнение не шло с ее предыдущими появлениями на экране: после событий 2017 года кандидатка от Национального фронта решила, что для достижения высшей власти женщине надо непременно выглядеть как Ангела Меркель, и она усердно пыталась усвоить нудную респектабельность немецкого канцлера, копируя даже покрой ее костюмов. Но в это майское утро создавалось впечатление, что пламенный революционный порыв, характерный для ее партии в первые годы существования, вновь вернулся к ней. В последнее время поговаривали, что некоторые из ее речей писал Рено Камю под руководством Флориана Филиппо^[11]. Не знаю, были ли эти слухи обоснованны, но она, безусловно, делала большие успехи. С первых же слов Марин Ле Пен я изумился республиканскому и даже откровенно

антиклерикальному характеру ее выступления. Не ограничиваясь довольно банальной ссылкой на Жюля Ферри, она дошла аж до Кондорсе, процитировав его знаменитую речь 1792 года перед Законодательным собранием, где он приводит в пример египтян и индийцев, которые, хоть “их человеческий разум и достиг невероятных высот... снова впали в отупение постыднейшего невежества, когда религиозная власть присвоила себе право учить людей”.

– Я думала, она католичка... – сказала Мириам.

– Она – не знаю, но ее электорат точно нет. Национальный фронт никогда не пользовался популярностью у католиков – в них слишком силен дух взаимопомощи и солидарности с третьим миром. А она держит нос по ветру.

Мириам посмотрела на часы и устало махнула рукой:

– Мне пора, Франсуа. Я обещала родителям вместе пообедать.

– Они знают, что ты здесь?

– Да-да, они не беспокоятся, но за стол без меня не сядут.

Я как-то заходил к ее родителям, в самом начале нашего романа. Они жили в частном доме в “Квартале цветов”, за станцией метро “Брошан”. У них был гараж и мастерская, совсем как в каком-нибудь провинциальном городке, да и вообще где угодно, только не в Париже. Помню, мы ужинали на лужайке – тогда как раз расцвели нарциссы. Они были очень приветливы, гостеприимны и радушны, не придавая при этом особого значения моему присутствию, что вполне меня устраивало. В ту минуту, когда ее отец открыл бутылку “Шато-неф-дю-Пап”, я внезапно понял, что Мириам, которой было уже за двадцать, каждый вечер ужинала с родителями; она помогала младшему брату делать уроки и покупала шмотки с младшей сестрой. У них была настоящая семья, дружная, сплоченная семья; и это было так потрясающе, что, учитывая мой собственный опыт, мне стоило немалых усилий не разрыдаться.

Я выключил звук; жесты Марин Ле Пен становились все стремительнее, она буквально молотила кулаком по воздуху и вдруг гневно развела руками. Конечно, Мириам уедет с родителями в Израиль, она просто не может поступить иначе.

– Знаешь, я правда надеюсь быстро вернуться... – сказала она, словно прочитав мои мысли. – Поживу там несколько месяцев, пока во Франции все не рассосется. – Ее оптимизм показался мне чрезмерным, но я промолчал.

Она надела юбку.

– Ну, теперь, учитывая последние события, родители наверняка

торжествуют. Поужинать спокойно не дадут. “А мы что тебе говорили, деточка...” Ладно, они хорошие и считают, что все это для моего же блага, я уверена.

– Да, они хорошие. Очень хорошие.

– А ты что будешь делать? Чем, по-твоему, все закончится в Сорбонне?

Я проводил ее к выходу; мне вдруг стало очевидно, что я понятия не имею, чем там все закончится; очевидно было и то, что мне на это наплевать. Я нежно поцеловал ее в губы и ответил:

– Израиля для меня не существует.

Нехитрая мысль; но мысль верная. Мириам скрылась в лифте.

Прошло несколько часов. Солнце уже заходило между многоэтажками, когда, внезапно очнувшись, я снова начал соображать, что происходит со мной, вокруг меня и вообще. Разум мой блуждал в каких-то темных и смутных пространствах, и теперь мной овладела смертельная тоска. Фразы из “Семейного очага” Гюисманса одна за другой назойливо возникали в моем воображении, и тут с болью в сердце я спохватился, что даже не предложил Мириам перебраться ко мне и жить вместе, но тут же сам возразил себе, что проблема вовсе не в этом, что в любом случае родители готовы снять ей комнату и что у меня всего лишь двухкомнатная квартира, хоть и большая, но все же, и наше сосуществование наверняка привело бы в недалеком будущем к потере всякого влечения, а мы еще слишком молоды, чтобы справиться с этим и остаться вместе.

В прежние времена люди объединялись в семьи – то есть, произведя на свет себе подобных, вкалывали еще какое-то количество лет, пока дети не повзрослеют, и потом отправлялись к Создателю. Но в наши дни, пожалуй, имеет смысл начинать совместную жизнь лет в пятьдесят – шестьдесят, когда постаревшим, измученным телам требуется уже только умиротворяющая и целомудренная близость родного человека; когда региональная кухня, прославленная, например, в телешоу “Эскапады Петирено”, одерживает убедительную победу над всеми прочими радостями жизни. Я немного помусолил идею статьи для “Девятнадцатого века”, в которой отметил бы, что после долгого и утомительного периода модернизма лишены всяких иллюзий выводы Гюисманса снова стали как нельзя более актуальны, доказательством чему служит рост числа популярных кулинарных шоу, посвященных, в частности, региональной кухне, на всех без исключения телеканалах; правда, я тут же осознал, что мне уже не хватит ни энергии, ни желания писать такую статью, пусть даже для узкой аудитории “Девятнадцатого века”. А еще я осознал, в

недоверчивом отупении уставившись в телевизор, что он по-прежнему работает, настроенный все на тот же *iTélé*. Я включил звук: Марин Ле Пен уже давно закончила свою речь, но все комментарии посвящены были в основном ей. Из них я узнал, что лидер Национального фронта призвала выйти в среду на массовую демонстрацию и проследовать по Елисейским Полям. Она совершенно не собиралась запрашивать разрешение в префектуре, заранее уведомив власти, что даже в случае запрета демонстрация состоится – “во что бы то ни стало”. Она увенчала свое обращение цитатой из Декларации прав человека 1793 года: “Когда правительство нарушает права народа, восстание для народа и для каждой его части есть его священнейшее право и неотложнейшая обязанность”. Слово “восстание” вызвало, само собой, многочисленные отклики и, кто бы мог подумать, даже побудило Франсуа Олланда нарушить затянувшееся молчание. По истечении двух катастрофических пятилетних мандатов уходящий президент, обязанный своим переизбранием лишь прискорбной стратегии, способствовавшей подъему Национального фронта, уже практически не высказывался публично, и большая часть СМИ, судя по всему, вообще забыла о его существовании. Когда на крыльце Елисейского дворца в присутствии десятка журналистов он отрекомендовался “последним бастионом республиканского строя”, раздались смешки, пусть мимолетные, но вполне внятные. Минут через десять выступил с заявлением премьер-министр. Он побагровел, на лбу вздулись вены, казалось, его вот-вот хватит удар; всякий, кто поставит себя выше демократической законности, предостерег он, окажется вне закона, и обращаться с ним будут соответственно. В общем, единственным, кто сохранил хладнокровие, оказался Мохаммед Бен Аббес – он поднял голос в защиту права на свободу собраний, предложив Марин Ле Пен устроить дебаты о светском характере государства, что, по мнению большинства обозревателей, было весьма ловким ходом, поскольку она вряд ли пошла бы на это, а он, таким образом, особо не утруждаясь, представал человеком умеренных взглядов, склонным к диалогу.

В конце концов все это мне надоело, и я начал бестолково перескакивать с одного реалити-шоу об ожирении на другое, а потом и вовсе выключил телевизор. Мысль о том, что политическая история может играть какую-то роль в моей личной жизни, по-прежнему приводила меня в замешательство и внушала даже некоторую брезгливость. При этом я вполне отдавал себе отчет, и не первый год, кстати, что разрыв – а вернее, уже настоящая пропасть – между народом и говорящими от его имени политиками и журналистами должен неминуемо привести к хаосу, к чему-

то непредсказуемому и агрессивному. Франция, как и другие западноевропейские страны, давно дрейфует к гражданской войне, это очевидно; просто еще несколько дней назад я был убежден, что французы в большинстве своем люди безропотные и апатичные, – наверняка по той причине, что я сам довольно безропотен и апатичен. Я ошибался.

Мириам позвонила только во вторник, уже после одиннадцати вечера; судя по голосу, к ней вернулась уверенность в завтрашнем дне: она считала, что во Франции скоро все войдет в колею, – лично я в этом сильно сомневался. Ей даже удалось уговорить себя, что Николя Саркози вернется на политическую арену и его встретят как избавителя. У меня не возникло желания разубеждать ее, но я считал, что это маловероятно; мне казалось, что в глубине души Саркози сдался и в 2017 году сам подвел черту под этим периодом своей жизни.

Она улетала рано утром, поэтому на прощальное свидание не оставалось времени; ей еще столько всего надо сделать – для начала собраться, ведь не так просто уместить свою жизнь в тридцать килограммов багажа. Я был готов к этому; и тем не менее у меня екнуло сердце, когда я нажал на отбой. Я знал, что теперь мне будет очень одиноко.

25 мая, среда

Однако на следующее утро, когда я садился в метро, чтобы ехать в университет, у меня было почти веселое настроение – политические события последних дней и даже отъезд Мириам представлялись мне дурным сном или ошибкой, которая в скором времени будет исправлена. Но каково же было мое удивление, когда, добравшись до улицы Сантей, я обнаружил, что решетки ворот, ведущих к учебным корпусам, наглухо заперты – обычно охранники открывали их без четверти восемь. Группка студентов, среди которых я опознал и своих второкурсников, топталась у входа.

Охранник появился только в полдевятого, он, оказывается, был в секретариате и объявил нам из-за ограды, что сегодня университет будет закрыт весь день, да и вообще не откроется до особого распоряжения. Ничего больше он нам сообщить не мог; мы должны разойтись по домам, и впоследствии нас “проинформируют в индивидуальном порядке”. Это был добродушный негр, сенегалец, если я не ошибаюсь, я знал его уже долгие годы и относился к нему с симпатией. Он удержал меня за руку, прежде чем

я успел отойти, и сказал, что, если верить слухам, ситуация тяжелая, по-настоящему тяжелая, и что он очень удивится, если университет откроется в ближайшие несколько недель.

Мари-Франсуаза, наверное, была в курсе происходящего; я все утро пытался ей дозвониться, но безуспешно. В полвторого, за неимением лучшего, я включил *iTélé*. Многие из участников демонстрации, организованной Национальным фронтом, уже прибыли на место: на площади Согласия и в саду Тюильри была тьма народу. По словам организаторов, там присутствовало два миллиона человек, по данным полиции – триста тысяч. Как бы там ни было, такой толпы я в жизни не видел.

Гигантское кучевое облако в форме наковальни накрыло северную часть Парижа, от Сакре-Кер до Оперы, его темно-серые бока отливали бронзой. Я перевел взгляд на экран телевизора, где и без того огромная толпа продолжала прибывать; потом опять взглянул на небо. Грозовая туча вроде бы медленно перемещалась к югу; если гроза разразится над Тюильри, планы демонстрантов будут сорваны.

Ровно в два часа колонна под предводительством Марин Ле Пен двинулась по Елисейским Полям к Триумфальной арке, поскольку в три часа она собиралась выступить там с речью. Я выключил звук, но еще некоторое время следил за изображением. Здоровенная растяжка во всю ширину улицы гласила: “Мы – народ Франции”. На небольших транспарантах, мелькавших в толпе, слоганы были попроще: “Мы у себя дома”. Эта фраза стала предельно ясным, лишенным ненужной агрессивности лозунгом, который активисты Национального фронта повсюду использовали на своих сходках. Гроза казалась неминуемой; теперь огромная туча зависла прямо над колонной демонстрантов. Вскоре мне это надоело, и я снова взялся за “Пристань”.

Мари-Франсуаза перезвонила мне в шесть с чем-то; новостей у нее не было, накануне состоялось заседание Национального совета университетов, но никакой информации оттуда не просочилось. Впрочем, она была уверена, что факультет в любом случае не откроется до окончания выборов, а может, и до начала следующего учебного года – экзамены вполне могли перенести на сентябрь. Ну а вообще ситуация представлялась ей весьма тревожной; муж ее, судя по всему, тоже нервничал, всю неделю он торчал в своем офисе в УВБ по четырнадцать часов, а накануне даже там заночевал. Она попрощалась, обещав перезвонить, если еще что-нибудь

узнает.

У меня совсем не осталось еды, но и особого желания отправляться в супермаркет “Жеан Казино” я тоже не испытывал – в моем густонаселенном районе в магазины ранним вечером лучше было не соваться, но мне хотелось есть, более того, хотелось какой-нибудь готовой еды: тушеной телятины в соусе, трески с кервелем, берберской мусаки; эти блюда для микроволновки, заведомо безвкусные, но зато в веселенькой разноцветной упаковке, свидетельствовали все же о значительном прогрессе в сравнении с трудными временами героев Гюисманса; никакого злого умысла тут не просматривалось, а сознание того, что ты вписываешься в коллективный опыт, пусть унылый, зато общий для всех, способствовало некоторой покорности судьбе.

Как ни странно, в супермаркете почти никого не было, в порыве восторга, смешанного со страхом, я очень быстро заполнил тележку; выражение “комендантский час” промелькнуло у меня в голове без всяких на то причин. Кассирши, застывшие за длинным рядом касс, перед которыми зияла пустота, приникли к радиоприемникам: демонстрация шла своим чередом, пока что никаких инцидентов отмечено не было. Еще просто рано, вот когда они начнут расходиться, что-нибудь да произойдет, подумал я.

Стоило мне выйти из торгового центра, как хлынул ливень. Вернувшись домой, я разогрел себе говяжий язык под соусом с мадерой, немного резиновый на вкус, но при этом вполне пристойный, и снова включил телевизор: столкновения уже начались, на экране мелькали группы мужчин в масках, со штурмовыми винтовками и автоматами; уже было разбито несколько витрин, тут и там горели машины, но кадры, снятые под проливным дождем, получались нечеткими, так что составить ясное представление о численности противоборствующих сил я не мог.

Часть третья

29 мая, воскресенье

Я проснулся в четыре утра, с ясной головой, начеку; не спеша, тщательно сложил чемодан, собрал дорожную аптечку и взял одежды на месяц; я даже отыскал спортивные ботинки, высокотехнологичные американские ботинки, к тому же ненадеванные, которые я купил год назад, воображая, что начну ходить в походы. Еще я взял свой ноутбук, кучу протеиновых батончиков, электрический чайник и растворимый кофе. В полшестого я был готов к выходу. Машина завелась без проблем, на выезде из Парижа было пусто; в шесть часов я уже приближался Рамбуйе. У меня не было ни определенного плана, ни пункта назначения; ничего, кроме весьма смутного ощущения, что имеет смысл ехать на юго-запад и что если во Франции все же разразится гражданская война, то до юго-запада она доберется нескоро. Честно говоря, я практически ничего не знал о юго-западной части Франции, если не считать того факта, что там едят конфи из утиной ножки; а конфи из утиной ножки никак не вязалось в моем воображении с гражданской войной. Возможно, я ошибался.

Я вообще плохо знал Францию. Проведя детство и юность в Мезон-Лаффите, в высшей степени буржуазном парижском пригороде, я поселился в Париже и больше его не покидал; я никогда особо не путешествовал по стране, гражданином которой, теоретически, являлся. Но такие поползновения у меня случались, доказательством чему может служить приобретение “фольксвагена-туарег”, ровесника моих туристических ботинок. Это мощный автомобиль с 8-цилиндровым V-образным двигателем в 4,2 литра и прямым впрыском топлива “коммон рейл”, что позволяет разогнаться на 240 километров в час, а то и больше; созданный для долгих шоссейных пробегов, он совсем неплохо смотрится и на бездорожье. Видимо, мне мерещилось, что по выходным я буду совершать увлекательные поездки по лесным дорогам. В итоге ничего такого не произошло, и я ограничился регулярными посещениями воскресного рынка старых книг возле парка Жоржа Брассенса. Иногда, к счастью, по воскресеньям я трахался, и чаще всего с Мириам. Жизнь моя была бы очень заурядной и очень унылой, если бы я хотя бы время от времени не спал с Мириам. Миновав съезд к Шатору, я остановился в зоне

отдыха “Тысяча прудов”; купив в сетевой кофейне печенье с двойным шоколадом и большую чашку кофе, я вернулся в машину и позавтракал, ни о чем не думая либо размышляя о прошлом.

Парковка возвышалась над деревенской местностью, совершенно пустынной, если не считать нескольких коров, возможно шаролезской породы. Уже давно рассвело, но внизу над лугами проплывали еще клочья тумана. Холмистый пейзаж был, пожалуй, красивым, но никаких прудов я не заметил – реки, впрочем, тоже. Размышлять о будущем было бы неосторожно с моей стороны.

Я включил радио: выборы начались и шли своим чередом, Франсуа Олланд уже проголосовал в своей “вотчине” в Коррезе; процент участия, судя по сведениям, поступавшим в этот ранний час, был довольно высок, выше, чем на двух предыдущих президентских выборах. Некоторые политические аналитики полагали, что высокий процент участия дает преимущество “правительственным” партиям, в ущерб всем остальным; другие аналитики, не менее уважаемые, придерживались прямо противоположной точки зрения. Короче говоря, делать выводы из процента участия было преждевременно, да и радио слушать рановато; я выключил его и выехал со стоянки.

Через некоторое время я заметил, взглянув на счетчик, что бензина осталось совсем немного, чуть больше четверти бака; зря я там не заправился. Еще я понял, что дорога на удивление свободна.

В воскресенье утром вообще народу на трассах мало, в эти часы народ переводит дух и потягивается – граждане позволяют себе ненадолго вообразить, будто живут частной жизнью. Но не до такой же степени – я проехал уже добрую сотню километров и не увидел ни одной машины ни на моей полосе, ни на встречной, только увернулся от болгарского грузовика, водитель которого, осатанев от усталости, выписывал кренделя между правой полосой и обочиной. Все было спокойно, по обеим сторонам дороги мелькали красно-белые “колдуны”, развевающиеся на легком ветерке; над лугами и лесами сияло солнце – как всегда, на посту. Я снова включил радио, но на этот раз тщетно: все станции, запрограммированные на моем приемнике, от *France Info* и *Europe 1* до *Radio Monte-Carlo* и *RTL*, издавали только негромкое потрескивание. Что-то такое во Франции сейчас происходило, я не сомневался в этом; и тем не менее я гнал со скоростью юо километров в час по автомагистралям родины, и, думаю, правильно делал, – создавалось впечатление, что в этой стране все вышло из строя, радары, видимо, тоже сломались, так что, если мне удастся продолжить в

том же темпе, часам к четырем я доберусь до пограничного пункта Ла-Жункера, а в Испании ситуация упростится, гражданская война останется далеко позади, так что попытаться стоило. Правда, у меня кончился бензин: эту проблему следовало решить незамедлительно, на ближайшей же заправке.

Она обнаружилась в Пеш-Монта. Судя по информационным щитам, тут не было ничего завлекательного: ни тебе ресторанов, ни бутика региональных продуктов, поистине янсенистская заправка, без излишеств, только бензин; но я не мог дожидаться зоны отдыха Парк-де-Кос-дю-Ло в пятидесяти километрах отсюда. Я поймал себя на мысли, что мог бы, заправившись в Пеш-Монта, порадовать себя в Кос-дю-Ло, купив там фуа-гра, сыра кабеку и кагора, чтобы устроить потом пир горой в гостиничном номере на Коста-Брава; это был полноценный проект, проект конструктивный и вполне осуществимый.

На парковке было пусто, и я тут же сообразил, что это неспроста; сбросив скорость до минимума, я осторожно въехал на заправку. Стеклянная витрина была разбита, асфальт вокруг усеян бесчисленными осколками. Я вылез из машины, подошел поближе: стеклянный шкаф с охлажденными напитками внутри магазина тоже был разгромлен, стойки с газетами опрокинуты. Кассиршу я обнаружил на полу в луже крови, руки у нее были прижаты к груди, в жалкой попытке защититься. Стояла гробовая тишина. Я направился к бензоколонкам, но они оказались заблокированными. Наверное, их включали на кассе. Я вернулся в магазин, превозмогая себя, перешагнул через труп, но не обнаружил ничего похожего на устройство, управляющее подачей бензина. После недолгих колебаний я взял с полки сэндвич с тунцом и овощами, безалкогольное пиво и путеводитель “Мишлен”.

Ближайшей из рекомендованных в нем местных гостиниц значилась “Реле-дю-О-Керси” в Мартеле; мне оставалось проехать километров десять по шоссе D840. Когда я выезжал с заправки, мне показалось, что возле стоянки грузовиков лежат два тела. Я снова вылез из машины и подошел поближе: так и есть, двое молодых арабов, в типичном прикиде отдаленных пригородов, лежали застреленные, крови они потеряли совсем немного, но были определенно мертвы; один из них все еще сжимал в руке автомат. Что же тут произошло, интересно. Я опять попробовал поймать наудачу какую-нибудь радиостанцию, но в ответ по-прежнему раздавался только треск.

За пятнадцать минут без всяких приключений я доехал до Мартеля –

лесистый пейзаж по обе стороны дороги радовал глаз. Так и не встретив ни одной машины, я всерьез забеспокоился; потом я подумал, что все наверняка сидят по домам, поддавшись – как и я, покидая Париж, – интуитивному ощущению неминуемой катастрофы.

“Реле-дю-О-Керси” оказался большим двухэтажным строением из белого известняка, стоявшим немного на отшибе. Ворота открылись с легким скрипом, я пересек площадку, усыпанную гравием, и, поднявшись по ступенькам, вошел внутрь. За стойкой администратора никого не было. На доске за ней висели ключи от номеров; все до одного были на своих местах. Я несколько раз крикнул в пустоту, все громче и громче, но ответа не получил. Я вышел: вдоль заднего фасада тянулась окруженная кустами роз терраса с круглыми столиками и коваными стульями, наверное, здесь накрывали завтрак. Пройдя метров пятьдесят по каштановой аллее, я очутился на заросшей травой эспланаде, отсюда открывался вид на местные просторы, а шезлонги и зонтики ждали гипотетических клиентов. Полюбовавшись пару минут мирным холмистым пейзажем, я вернулся в отель. В тот момент, когда я ступил на террасу, навстречу мне вышла женщина, блондинка лет сорока с гладко зачесанными волосами, в сером шерстяном платье в пол. Увидев меня, она аж отпрянула.

– Ресторан закрыт, – настороженно сказала она.

Я ответил, что мне нужен только номер.

– Завтраков мы тоже не подаем. – Уточнив это, она нехотя призналась, что свободная комната у нее есть.

Она проводила меня на второй этаж и, открыв дверь, протянула мне клочок бумаги:

– Ворота закрываются в двадцать два часа, если вернетесь позже, вам понадобится код. – И она удалилась, не добавив ни слова.

С открытыми ставнями комната выглядела вполне приемлемо, за исключением обоев, на которых тусклым пурпурным цветом были изображены сцены охоты. Я попытался посмотреть телевизор, но тщетно: ни на одном канале сигнала не было, одно сплошное кишение пикселей. Интернет работал не лучше: я поймал несколько сетей, название которых начиналось с *Vbox* или *SFR* – возможно, они принадлежали деревенским жителям, но “Реле-дю-О-Керси” среди них не нашлось. В памятке для клиентов, лежавшей в ящике стола, детально описывались местные туристические достопримечательности и давались необходимые указания относительно гастрономии Керси; интернет даже не упоминался. Подключение к сети явно не входило в жизненно важные потребности постояльцев отеля.

Разложив и развесив в шкафу свои вещи, я включил в сеть чайник и электрическую зубную щетку, потом мобильник, но, не обнаружив ни единого сообщения, задумался, что я, собственно, тут делаю. Подобный вопрос общего порядка вполне может задать себе любой человек в любом месте в любую минуту своей жизни; но одинокий путник, надо признать, склонен к этому в наибольшей степени. Даже будь тут со мной Мириам, у меня все равно не появилось бы особых причин торчать в Мартеле; просто я не задал бы себе этого вопроса. Влюбленная пара – это целый мир, автономный и непроницаемый; перемещаясь внутри более обширного мира, он практически не подвергается его воздействию, но, оставшись в одиночестве, я дал трещину, и мне потребовалось известное мужество, чтобы, сунув памятку в карман куртки, отправиться в деревню на разведку.

В центре площади Консулов находился крытый зерновой рынок, судя по всему старинный, я мало что соображал в архитектуре, но окружавшим его домам из красивого белого камня наверняка было несколько столетий, я уже видел такого рода здания по телевизору, как правило, в программе Стефана Берна, и тут было ничуть не хуже, чем по телевизору, даже лучше, один очень большой дом со стрельчатыми арками и башнями напоминал замок, и, подойдя поближе, я выяснил, что действительно замок Раймонди, возведенный между 1280 и 1350 гг., принадлежал изначально виконтам де Тюренн.

Да и вся деревня оказалась под стать площади. По пустынным живописным улочкам я поднялся к массивной церкви Сен-Мор, почти лишенной окон; это крепостное сооружение построили для отражения набегов неверных, коих в этом регионе, если верить памятке, было хоть отбавляй.

Шоссе D840, пересекая деревню, шло дальше к Рокамадур. Мне уже приходилось слышать о Рокамадуре, это популярное туристическое направление, в путеводителе “Мишлен” возле него стоит множество звездочек, кстати, я, по-моему, даже *видел* этот Рокамадур в передаче Стефана Берна, но все-таки до него оставалось еще двадцать километров, так что я выбрал дорогу местного значения, поуже и поизвилистей, ведущую в Сен-Дени-ле-Мартель. Метров через сто я наткнулся на крохотную деревянную будку, где продавались билеты на туристический поезд с паровозом, идущий по долине Дордони. Это могло быть занятно; лучше, конечно, отправляться в путь вдвоем, повторял я про себя с мрачным наслаждением, но в будке все равно никого не было. Мириам прилетела в Тель-Авив несколько дней назад и, наверное, успела уже навести справки о записи в университет и даже, вероятно, взяла анкету для

поступления, а может, отправилась на пляж, она всегда любила сидеть на пляже, но мы ни разу не провели вместе каникулы, подумал я, ведь я никогда толком не умел придумать, куда поехать и где что забронировать, я уверял, что обожаю Париж в августе, но на самом деле был просто не в состоянии выбраться из него.

Справа вдоль железнодорожных путей полого поднималась грунтовая дорога. Проехав по ней километр между густыми лесными зарослями, я очутился на краю высокого обрыва со смотровой площадкой; пиктограмма изображала фотокамеру с гармошкой, подтверждая тем самым туристическую ценность этого места.

Внизу, между известняковыми скалами метров пятидесяти в высоту, текла Дордонь, следуя своей загадочной геологической судьбе. Люди селились в этих краях с самых отдаленных доисторических времен, как явствовало из поучительной информации, размещенной тут же на стенде. Кроманьонцы постепенно вытеснили неандертальцев, и те отступили к Испании, а потом и вовсе исчезли навсегда.

Я сел на край обрыва, попытавшись без особого успеха погрузиться в созерцание пейзажа. По истечении получаса я достал телефон и набрал номер Мириам. В голосе ее звучало удивление, но она рада была меня слышать. Все хорошо, сказала она, они сняли симпатичную светлую квартиру в центре города; нет, она еще не занималась поступлением; а я как поживаю. Хорошо, соврал я; все-таки я очень по ней скучал. Я заставил ее пообещать, что при первой же возможности она напишет мне длинный подробный мейл, но тут я вспомнил, что не могу подключиться к интернету.

Я всегда терпеть не мог все эти чмоки в телефон, даже в молодости мне трудно было на это решиться, а уж в сорок с лишним лет они мне казались полным идиотизмом, и все же я дал слабину, но стоило нам разъединиться, как на меня обрушилось чудовищное одиночество, и я понял, что мне уже никогда не достанет решимости позвонить Мириам, ощущение близости по телефону было слишком пронзительным, а пустота, следующая за ним, – слишком нестерпимой.

Все мои попытки увлечься местными природными красотами были явно обречены на провал; и все же я поупорствовал еще немного, и когда отправился наконец обратно в Мартель, уже смеркалось. Кроманьонцы охотились на мамонтов и оленей; у их сегодняшних потомков был выбор между “Ашаном” и “Леклерком”, и тот и другой находились в Суйаке. В деревне я обнаружил только булочную – она была закрыта – и кафе на

площади Консулов, оно, судя по всему, тоже закрылось, на террасе не было ни одного столика. Тем не менее, заметив внутри слабый свет, я толкнул дверь и вошел.

Человек сорок мужчин, сидя в полном молчании перед телевизором, стоявшим на возвышении в глубине зала, смотрели репортаж *BBC News*. На мое появление никто не отреагировал. Скорее всего, это были местные жители, по большей части пенсионного возраста, остальные, судя по их виду, являлись работниками физического труда. Мне уже давно не приходилось практиковаться в английском языке, а комментатор так тараторил, что я мало что разбирал; впрочем, и другие зрители выглядели не более продвинутыми, чем я. Кадры, снятые в самых разных населенных пунктах – в Мюлузе, Траппе, Стене и Орийаке, – не представляли особого интереса: опустевшие развлекательные центры, детские сады, спортзалы. И только дождавшись выступления Манюэля Вальса на крыльце Матиньонского дворца, с иссиня-бледным лицом в свете вспышек, я смог восстановить ход событий: сегодня во второй половине дня вооруженные бандиты взяли штурмом десятка два избирательных участков по всей Франции. Обошлось без жертв, но урны были похищены; пока что никто не взял на себя ответственность за эти действия. В создавшихся условиях у правительства нет иного выхода, кроме как приостановить процесс выборов. После экстренного совещания, которое должно состояться позже вечером, глава правительства объявит о принятии соответствующих мер; законы Республики сохраняют свою силу, вяло заключил он.

30 мая, понедельник

Проснувшись около шести утра, я обнаружил, что телевизор снова заработал: *iTélé* ловился плохо, *BFM* – вполне прилично; все программы, разумеется, были посвящены вчерашним событиям. Обозреватели подчеркивали крайнюю уязвимость демократического процесса, ибо избирательный кодекс гласил: если результаты голосования оказываются утраченными хотя бы на одном участке Франции, выборы должны быть признаны недействительными. Они также подчеркивали, что впервые какая-то кучка недовольных додумалась использовать эту дырку в законе. Поздно ночью премьер-министр объявил, что повторные выборы состоятся уже в следующее воскресенье и на этот раз все избирательные участки будут взяты под охрану армии.

Что касается политических последствий этих событий, то аналитики

разошлись во мнениях, и я почти все утро пытался вникнуть в их противоречивые аргументы, а потом спустился в парк с книжкой. В эпоху Гюисманса политических конфликтов тоже было предостаточно: тогда же состоялись первые теракты анархистов; тогда же правительство “папаши Комба” проводило антиклерикальную политику, агрессивность которой кажется сегодня невыразимой, – дошло до изъятия церковного имущества и роспуска конгрегаций. Последнее затронуло Гюисманса напрямую, вынудив его покинуть давшее ему приют аббатство Лигюже; впрочем, эти события не оставили заметного следа в его творчестве, судя по всему, политические вопросы вообще мало его волновали.

Мне всегда нравилась та глава в “Наоборот”, где Дезэссент, запланировав поездку в Лондон, идея которой возникла у него, когда он перечитывал Диккенса, застревает в таверне на улице Амстердам, будучи просто не в состоянии встать из-за стола. “Он ощутил невыразимое отвращение к предстоящей поездке и настоятельную потребность сидеть на месте”. Мне-то хотя бы удалось уехать из Парижа, я-то хотя бы уже добрался до Ло, думал я, уставившись на ветви каштана, покачивающиеся на ветру. Я знал, что самое трудное позади: одинокий путник сначала вызывает недоверие, даже враждебность, но понемногу люди привыкают к нему, в том числе владельцы гостиниц и ресторанов, которые в конце концов приходят к мысли, что имеют дело с чудачком, в сущности вполне безобидным.

И правда, когда я в полдень вернулся в гостиницу, директриса довольно тепло поприветствовала меня, сообщив, что ресторан откроется в тот же вечер. Появились новые постояльцы, английская супружеская пара лет шестидесяти, у мужа была внешность интеллигента, или, бери выше, – ученого, из тех, что до одури посещают самые отдаленные церкви, до тонкостей изучив романское искусство Керси и влияние зодчих Муассака; с такими, как он, проблем не возникает.

На каналах *iTélé* и *BFM* по-прежнему обсуждали политические последствия переноса второго тура президентских выборов. Тем временем заседало политическое бюро Соцпартии, заседало и политическое бюро Мусульманского братства; даже политическое бюро ЮМП решило, что не вредно бы позаседать. Журналисты, один за другим выходившие в прямой эфир из штабов партий с улицы Сольферино, с улицы Вожирар и с бульвара Мальзерб, ухитрились заболтать тот факт, что в их распоряжении нет никакой достоверной информации.

Около пяти часов я снова отправился в деревню: сюда постепенно возвращалась жизнь, булочная открылась, по площади Консулов снова

люди; попробуй я вообразить, на что могут быть похожи жители деревушки Ло, я, скорее всего, оказался бы недалеко от истины. В “Спорт-кафе” народу было мало, интерес к политическим новостям вроде бы угас, телевизор в глубине зала был включен на канале *Tele Monte-Carlo*. Я уже допивал пиво, когда мне послышался знакомый голос. Я обернулся: Ален Таннер, стоя у кассы, расплачивался за коробку сигарилл “Кафе-крем”; под мышкой он сжимал пакет из булочной с торчавшей наружу буханкой деревенского хлеба. Муж Мари-Франсуазы тоже обернулся; глаза его округлились от изумления.

Позже, за следующей кружкой пива, я объяснил ему, что попал сюда случайно, и рассказал про заправку Пеш-Монта. Он внимательно выслушал меня, ничуть не удивившись.

– Так я и думал, – сказал он, когда я закончил. – Я подозревал, что, помимо нападения на избирательные участки, имели место и другие столкновения, о которых не сообщали в прессе; наверняка их было немало по всей Франции...

Его собственное появление в Мартеле было отнюдь не случайным: тут находился дом, принадлежавший его родителям, он был уроженцем этих мест и рассчитывал, выйдя в ближайшее время на пенсию, поселиться в Мартеле. Мари-Франсуаза не сомневалась, что если победит мусульманский кандидат, на кафедру она не вернется, так как в исламском университете женщинам преподавать не разрешается, это без вариантов. А как же его служба в УВР?

– Меня уволили, – сказал он, еле сдерживая ярость. – Меня уволили в пятницу утром, и вместе со мной всю мою команду. Это произошло мгновенно, нам дали всего два часа, чтобы освободить кабинеты.

– А почему, вы знаете?

– О да! О да, я знаю почему... Днем в четверг я написал рапорт начальству о том, что инцидентов следует опасаться в самых разных населенных пунктах; целью этих инцидентов будет срыв голосования. Они равным счетом ничего не сделали; на следующий день мне просто указали на дверь. – Он дал мне переварить эту информацию и спросил: – Ну так? К каким тут выводам можно прийти, по-вашему?

– Вы подразумеваете, что правительство *хотело*, чтобы избирательный процесс был сорван?

Он медленно покачал головой.

– Я бы не взялся доказывать это следственной комиссии. Ведь мой рапорт не был таким уж конкретным. Например, сопоставив донесения моих информаторов, я заключил, что что-то должно произойти в Мюлузе

или его пригородах, но не мог же я точно сказать, на каком именно избирательном участке – Мюлуз-2, Мюлуз-5 или Мюлуз-8... А для того, чтобы взять под охрану все участки, пришлось бы задействовать огромные силы; то же самое касалось и других проблемных точек. У моих шефов на такой случай всегда есть отговорка, что УВР часто паникует попусту; мол, они пошли на вполне допустимый риск. Но повторяю вам, я знаю, что говорю...

– И кто, по-вашему, стоит за этими беспорядками?

– Именно те, про кого вы подумали.

– Идентитаристы?

– Частично, да, идентитаристы. А еще молодые мусульмане-джихадисты, их, кстати, приблизительно поровну.

– По-вашему, они связаны с Мусульманским братством?

– Нет. – Он решительно покачал головой. – Я потратил пятнадцать лет жизни на изучение этого вопроса; нам не удалось обнаружить ни отношений, ни даже отдельных контактов между ними. Джихадисты – это сбившиеся с пути салафиты, предпочитающие проповеди насилие, но они все-таки остаются салафитами и считают Францию землей неверия, *дар аль-куфр*; для Мусульманского братства, напротив, Франция потенциально является частью *дар аль-ислама*. Но главное, салафиты заявляют, что вся власть идет от Бога и сам принцип народных представителей – это кощунство, им и в голову никогда не придет ни основать, ни поддержать политическую партию. При этом молодые мусульманские экстремисты, хоть и зачарованы мировым джихадом, в глубине души желают победы Бен Аббесу; они в нее не верят, полагая, что джихад – единственно верный путь, но и мешать ему не станут. То же самое верно и в отношении Национального фронта и идентитаристов. Для последних единственный правильный путь – это гражданская война, но многие из них, прежде чем стать законченными радикалами, были связаны с Национальным фронтом, и вредить им они не будут. Национальный фронт и Мусульманское братство изначально решили идти на выборы; они, словно на спор, вознамерились взять власть, соблюдая правила демократической игры. Что любопытно... и даже забавно, если хотите... несколько дней назад и европейские идентитаристы, и мусульмане-джихадисты убедили себя, независимо друг от друга, что победа останется за противником и что им ничего не остается, как сорвать текущие выборы.

– И кто из них прав, на ваш взгляд?

– Понятия не имею. – Он наконец расслабился и широко улыбнулся. – Если верить легенде, доставшейся нам в наследство от прежней Общей

разведки, у нас есть доступ к закрытым опросам, которые не предаются гласности. Это, конечно, все детский сад... Впрочем, доля правды в этом есть, традиция есть традиция, в каком-то смысле. Так вот, результаты закрытых опросов на сей раз совпали с официальными: 50 на 50, с точностью до нескольких десятых...

Я заказал еще два пива.

– Приходите как-нибудь поужинать, – сказал Таннер. – Мари-Франсуаза будет рада вас видеть. Она, конечно, очень расстроена тем, что придется бросить университет. Мне, в общем, плевать, я в любом случае через два года вышел бы на пенсию... Да, закончилось все не лучшим образом; но я наверняка получу пенсию в полном объеме и еще какую-нибудь показательную премию, думаю, они будут из кожи вон лезть, только бы меня заткнуть.

Официант принес пиво и мисочку с оливками; в кафе прибавилось народу, все говорили очень громко и, судя по всему, были знакомы между собой, некоторые, проходя мимо нашего столика, здоровались с Таннером. Я в растерянности съел две оливки: что-то от меня все же ускользало в логике событий; конечно, я мог бы с ним это обсудить, вдруг у него возникнут какие-то мысли по этому поводу, у меня создалось впечатление, что у него есть мысли по самым разным поводам; я пожалел, что до сих пор лишь вскользь и между делом интересовался политикой.

– Вот чего я не понимаю... – сказал я, глотнув пива. – На что они рассчитывали, нападая на избирательные участки? Ведь через неделю выборы все равно состоятся, под охраной армии; соотношение сил не изменилось, результат по-прежнему неясен.

Конечно, если удастся доказать, что зачинщиками были идентитаристы, это сыграет на руку Мусульманскому братству; если же это были мусульмане, то выиграет Национальный фронт.

– Ну, тут можете быть спокойны: никто ничего доказать не сможет, ни с той, ни с другой стороны; даже пытаться не будут. А вот в политическом плане кое-что произойдет, и наверняка довольно скоро, может быть, уже завтра. Первый вариант – ЮМП решит объединиться на этих выборах с Национальным фронтом. Ну, ЮМП, честно говоря, это уже пустой звук, они катятся под откос; но их поддержки все же хватит, чтобы склонить чашу весов в эту сторону и определить окончательный расклад.

– Не знаю, что-то мне не верится; в таком случае они могли это сделать уже много лет назад.

– Вы совершенно правы! – воскликнул он, рассмеявшись. – Поначалу Национальный фронт был готов на все, чтобы заключить альянс с ЮМП и

образовать правительственное большинство, а потом они стали понемногу расти, опросы свидетельствовали об увеличении их популярности; тогда в ЮМП испугались. Нет, не их популизма и не предполагаемого фашизма – лидеры ЮМП не видят ничего предосудительного в том, чтобы предложить ряд мер охранительного или ксенофобского характера, которых от них и так ждет подавляющее большинство электората, вернее, его остатки; просто ЮМП сейчас намного слабее своего партнера, и они боятся, что, заключив такое соглашение, в скором времени прекратят свое существование – новый союзник способен поглотить их, подмять под себя. Кроме того, есть еще Европа, и это вопрос принципиальный. На самом деле в планах ЮМП, равно как и социалистов, стоит исчезновение Франции как государства, ее интеграция в единую федеративную Европу. Их избиратели, само собой, такие цели не одобряют, но партийные лидеры уже многие годы ухитряются обходить эту тему молчанием. Если они заключат союз с движением, открыто стоящим на антиевропейских позициях, им эту линию долго не удержать, и альянс рано или поздно разлетится вдребезги. Поэтому мне кажется более вероятной другая гипотеза – создание республиканского фронта, в котором ЮМП, как и Соцпартия, сплотятся вокруг кандидатуры Бен Аббеса – разумеется, при условии, что они в достаточной мере будут представлены в правительстве, а также смогут договориться о будущих парламентских выборах.

– По-моему, это тоже будет непросто, или как минимум странно.

– И опять вы правы!.. – Он снова улыбнулся и потер руки, его явно все это очень забавляло. – Это будет непросто, но по другим причинам: непросто, *потому что* странно; потому что такого не бывало, во всяком случае после войны. Противостояние левых-правых так давно уже структурирует политическую игру, что кажется неизбежным. Однако, по сути дела, никакой реальной трудности нет; расхождения у ЮМП с Мусульманским братством гораздо менее существенны, чем у социалистов. Мне кажется, мы с вами об этом говорили при нашей первой встрече: если социалисты в конце концов уступили министерство образования и сумели заключить соглашение с Мусульманским братством, если у них антирасизм взял верх над антиклерикализмом, то только потому, что их приперли к стенке. Куда ж им было деться. ЮМП будет в этой ситуации проще, они и так уже близки к развалу, да и образованию никогда не уделяли особого внимания, это вообще не про них. С другой стороны, ЮМП и социалистам надо привыкнуть к идее совместного управления страной; для них эта ситуация в новинку, так как она оказалась диаметрально противоположной всему тому, что определяло их позицию с момента появления на

политической арене. Есть еще третий вариант, при котором совсем ничего не произойдет: они не заключат соглашения, второй тур пройдет при том же соотношении сил, и его исход будет столь же непредсказуем.

В каком-то смысле это самое вероятное развитие событий, что и внушает тревогу. Впервые за всю историю Пятой республики практически невозможно предсказать результаты выборов; кроме того, и это главное, ни одна из двух партий, оставшихся в гонке, не имеет ни малейшего опыта в принятии управленческих решений ни в общенациональном, ни даже в местном масштабе; в политике они просто дилетанты.

Допив пиво, Таннер посмотрел на меня своим умным взглядом. На нем был пиджак в клетку “принц Уэльский” поверх майки поло; он был доброжелателен, проницателен и напрочь лишен каких бы то ни было иллюзий; скорее всего, он подписан на журнал *Historian* я представил себе полное собрание переплетенных журналов на книжной полке возле камина вперемешку с узкоспециальными книгами, вроде оборотной стороны Франсафрики или истории спецслужб после Второй мировой войны; наверняка авторы этих трудов уже задавали ему вопросы или зададут в скором времени, нарушив его покой в далеком Керси; вероятно, он не сможет особо распространяться на определенные темы, но почувствует себя вправе обсуждать какие-то другие.

– Ну, что, ждем вас завтра вечером? – спросил он, знаком попросив у официанта счет. – Я заеду за вами в гостиницу. Мари-Франсуаза очень обрадуется, вот увидите.

Над площадью Консулов сгущались сумерки, и заходящее солнце окрашивало светлые камни домов в рыжие тона; мы стояли перед дворцом Раймонди.

– Это же очень старая деревня, да? – спросил я.

– Очень старая. И Мартель – не случайное название... Как известно, в 732 году Карл Мартелл разбил арабов при Пуатье, остановив тем самым мусульманскую экспансию на север. Это была действительно решающая битва, положившая, по сути, начало средневековому христианству; но там все было сложнее, завоеватели отступили не сразу, и Мартелл еще несколько лет сражался с ними в Аквитании. Позже он одержал еще одну победу, неподалеку отсюда, и решил в знак благодарности возвести церковь; на ней изображен его герб, три скрещенных молота. Вот вокруг этой церкви, которая была впоследствии разрушена и восстановлена в четырнадцатом веке, и возникла деревня. Конечно, между христианством и исламом произошло множество баталлий, вообще военные действия издавна являются одним из основных занятий человечества, война в природе

человека, как говаривал Наполеон. Но, мне кажется, пришла пора пойти на мировую и заключить союз с исламом.

Я протянул ему на прощание руку. Он немножко наигрывал, изображая из себя ветерана спецслужб, такого старого мудреца не при делах и т. д., но ведь его уволили совсем недавно, так что ему потребуется время, чтобы войти в новый образ. В любом случае я был очень рад, что он пригласил меня к себе, уж портвейн-то наверняка будет отменного качества, да и в достоинствах предстоящего ужина я тоже не сомневался, он не был похож на человека, легкомысленно относящегося к вопросам гастрономии.

– Посмотрите завтра телевизор, постарайтесь проследить за политическими новостями, – бросил он мне, уходя. – Готов держать пари, что-нибудь да произойдет.

31 мая, вторник

Новости не заставили себя ждать: в начале третьего сообщили, что ЮМП, ЮДИ^[12] и социалисты договорились о коалиции, о создании правительства “широкого республиканского фронта” и поддержке кандидата от Мусульманского братства. Перевозбужденные журналисты, сменяя друг друга всю вторую половину дня, пытались разузнать побольше об условиях этого договора и распределении министерств, но неизменно получали в ответ рассуждения о тщете политиканских спекуляций, назревшей необходимости национального согласия, проливании бальзама на раны разобщенной страны и так далее. Все это было ожидаемо и давно понятно, чего не скажешь о возвращении на политическую авансцену Франсуа Байру. Он и правда согласился *пойти в паре* с Мохаммедом Бен Аббесом, обещавшим в случае победы на выборах назначить его премьер-министром. Старый политикан из Беарна, проигравший практически все выборы, на которые он выставлял свою кандидатуру в течение последних тридцати лет, пытался улучшить свой *имидж* при помощи иллюстрированных журналов, для чего регулярно фотографировался в пелерине, опираясь на пастуший посох, а-ля Жюстен Бриду^[13], на фоне пейзажа, где чередовались луга и возделанные пашни, как правило, в Лабурдане. В своих многочисленных интервью он пытался выковать себе деголлевский образ человека, который сказал “нет”.

– Байру – это гениальная идея, просто гениальная, – воскликнул, когда я вошел, Ален Таннер, буквально дрожа от восторга. – Признаюсь, о нем я

в жизни бы не подумал; нет, он большой молодец, этот Бен Аббес...

Мари-Франсуаза встретила меня сияющей улыбкой; она не только, судя по всему, рада была меня видеть, но и вообще прекрасно выглядела. Наблюдая, как она суетится на кухне перед разделочным столом, в фартуке с юмористическими надписями типа “Не кричите на кухарку, это дело хозяина”, трудно было представить себе, что еще несколько дней назад она читала лекции аспирантам о том, в каких необычных условиях Бальзак правил корректуру “Беатрисы”. Она приготовила вкуснейшие тарталетки из утиной шейки с шалотом. Ее муж в страшном возбуждении открыл одну за другой бутылку кагора и сотерна, но спохватился, что я непременно должен попробовать его портвейн. Пока что я не совсем понимал, почему возвращение Франсуа Байру на политическую арену такая уж *гениальная идея*, но был уверен, что Таннер не замедлит пояснить свою мысль. Мари-Франсуаза благосклонно смотрела на мужа, явно испытывая облегчение оттого, что он отлично справляется с ситуацией и так органично входит в роль *кабинетного стратега* – которую он с успехом сможет сыграть в присутствии мэра, доктора, нотариуса и прочих местных нотаблей, по-прежнему многочисленных в таких провинциальных городках, к тому же в их глазах он будет навсегда увенчан славой бывшего спецслужбиста. Их затворничество, судя по всему, представало в самом радужном свете.

– Байру столь замечателен и незаменим, – продолжал с энтузиазмом Таннер, – благодаря своей вопиющей глупости. Его политический проект всегда сводился лишь к желанию любыми средствами дорваться, так сказать, до высшей власти; он никогда не имел и даже не делал вид, будто имеет хоть какие-то собственные идеи, на этом уровне такое нечасто увидишь, согласитесь. Зато в результате он идеально подходит для воплощения самого понятия гуманизма, тем более что он мнит себя Генрихом Четвертым и выдающимся модератором мирного межрелигиозного диалога; кстати, он высоко котируется у католического электората, успокоенного его глупостью. Именно это и нужно Бен Аббесу, который стремится стать символом нового гуманизма и позиционировать ислам как новый объединяющий гуманизм в его законченной форме, и, между прочим, он вовсе не кривит душой, заявляя о своем уважении ко всем трем авраамическим религиям.

Мари-Франсуаза позвала нас за стол; она сделала салат из бобов с листьями одуванчиков и ломтиками пармезана. Это было так вкусно, что на мгновение я потерял нить разговора.

– Католиков во Франции практически не осталось, – продолжал Таннер, – но они всегда казались неким непререкаемым моральным

авторитетом. Бен Аббес, во всяком случае, с самого начала старался снискать их расположение: в течение прошлого года он, по меньшей мере, раза три съездил в Ватикан. Считаюсь, хотя бы в силу своего происхождения, защитником ценностей третьего мира, он сумел в конце концов успокоить консервативный электорат... В отличие от своего вечного оппонента Тарика Рамадана, отягченного грузом троцкистских связей, Бен Аббес ни разу не засветился с левыми антикапиталистами. Он отлично понял, что правые либералы победили в “битве идей”, что молодежь нынче пошла *бизнес-ориентированная*, а рыночной экономике альтернативы нет, и это уже признано всеми. Но истинная гениальность мусульманского лидера состоит в том, что он понял: основной ставкой на предстоящих выборах будет не экономика, а моральные и прочие ценности и на этом поле правые тоже готовы выиграть “битву идей”, даже не слишком утруждаясь. Рамадан представлял шариат как новаторский, если не революционный проект, тогда как Бен Аббес возвращает ему иные приоритеты – традиционность и надежность, с легким налетом экзотики, что делает его еще более привлекательным. Что касается восстановления семейных ценностей, традиционной морали и тем самым, по существу, патриархата, то тут перед ним расстилаются необозримые просторы, где правоцентристам, как и Национальному фронту, нет места – слишком велик риск, что последние ветераны шестьдесят восьмого года обзовут их реакционерами, а то и фашистами. Эти дышащие на ладан мумии прогрессизма давно себя исчерпали в общественном плане, но, засев в медиатических крепостях, еще умудряются метать проклятия, обличая наши злосчастные времена и *тошнотворную атмосферу*, которая сгущается в стране; один лишь Бен Аббес для них неуязвим. Закованные в кандалы идейного антирасизма, левые лишены возможности не только бороться с мусульманским кандидатом, но даже критиковать его.

Мари-Франсуаза подала тушеные бараньи голяшки с жареной картошкой, и у меня голова пошла кругом.

– Ну все же он мусульманин, – смущенно возразил я.

– Да, и что из того? – Просияв, Таннер взглянул на меня. – Он мусульманин, но *умеренный*, вот в чем суть. Он постоянно твердит об этом, и так оно и есть. Считать его талибом или террористом было бы грубой ошибкой; ничего, кроме презрения, он к ним не испытывает. Когда он пишет об этом на страницах “свободной трибуны” в “Монд”, за откровенным моральным осуждением чувствуется явная нотка презрения; в сущности, он считает террористов *дилетантами*, Бен Аббес на самом деле очень ловкий политик, наверняка самый ловкий и самый

изворотливый во Франции после Франсуа Миттерана. И в отличие от Миттерана, ему присуще подлинное видение истории.

– Короче, вы считаете, что католикам нечего опасаться.

– Им не только нечего опасаться, им, напротив, даже есть на что надеяться! Знаете... – Он смущенно улыбнулся. – Я уже десять лет изучаю казус Бен Аббеса и без преувеличения могу сказать, что знаю его, может быть, лучше многих во Франции. Я практически всю свою карьеру посвятил наблюдению за исламистскими движениями. Первым моим делом – я был еще совсем молод и учился в Школе полиции в Сен-Сир-о-Монд’Ор – стали теракты 1986 года в Париже, прямым заказчиком которых, как в итоге выяснилось, была Хезболла, а косвенным – Иран. Затем я занимался алжирцами, косоварами, политическими движениями, близкими к Аль-Каиде, и террористами-одиночками... этот поток не иссякал никогда, менялись только формы. Так что Мусульманское братство сразу попало в поле нашего зрения. Нам понадобился не один год, чтобы убедиться – у Бен Аббеса существует настоящий проект, и даже весьма амбициозный проект, не имеющий ничего общего с исламским фундаментализмом. В ультраправых кругах распространено мнение, что если мусульмане придут к власти, христиане непременно получат унижительный статус *зимми*, граждан второго сорта. Понятие “зимми” действительно является одним из общих принципов ислама, но на практике статус зимми довольно гибок. Земля ислама характеризуется невероятной протяженностью; практика ислама в Саудовской Аравии не имеет ничего общего с тем, что мы наблюдаем в Индонезии или Марокко. Что касается Франции, то я совершенно уверен – и готов держать пари, – что христианский культ не только не подвергнется гонениям, но, напротив, субсидии на католические организации и содержание культовых сооружений возрастут – они могут себе это позволить, ведь средства, поступающие мечетям от нефтяных держав, будут все равно гораздо выше. А главным врагом мусульман, внушающим им страх и лютую ненависть, является вовсе не католичество, а секуляризм, антиклерикализм, атеистический материализм. Католики для них просто верующие, а католичество – одна из трех мировых религий; их всего-то надо уговорить сделать следующий шаг и принять ислам: вот исконное, истинно мусульманское видение христианства.

– А евреи? – вырвалось у меня. Я совершенно не собирался задавать этот вопрос. Образ Мириам в футболке рядом со мной в постели в то последнее утро и ее аккуратная круглая попа на мгновение возникли в моем воображении; я налил себе большой стакан кагора.

– Ну... – Он снова улыбнулся. – Евреям, конечно, придется труднее. Теоретически к ним применим тот же принцип, иудаизм – авраамическая религия, Авраам и Моисей признаны пророками ислама; но на практике в мусульманских странах отношения с евреями, как правило, складываются не так просто, как с христианами, и потом, сами понимаете, все испортил палестинский вопрос. В состав Мусульманского братства входят некоторые миноритарные движения, выступающие за применение к евреям репрессивных мер; но я думаю, у них нет ни малейшего шанса на успех. Бен Аббесу всегда было важно поддерживать добрые отношения с главным раввином Франции, но, похоже, время от времени он все-таки будет отпускать вожжи, предоставляя некоторую свободу действий своим экстремистам; потому что если он и рассчитывает добиться массового обращения в ислам христиан – а ничто не доказывает нам, что это нереально, – то насчет евреев он особо не обольщается. В глубине души он, видимо, надеется, что они сами решат эмигрировать из Франции в Израиль. В одном могу вас заверить: он отнюдь не намерен поступаться своими личными амбициями – а они запредельны – ради красивых глаз палестинцев. Как ни странно, мало кто читал его ранние опусы – это и понятно, он публиковался в какой-то неведомой геополитической прессе. Однако главным его ориентиром, и это бросается в глаза, остается Римская империя, а строительство единой Европы для него всего лишь средство реализации этой грандиозной задачи. Основным направлением его внешней политики станет стремление переместить центр тяжести Европы на юг; уже сегодня существуют такие организации, как Средиземноморский союз, ставящие перед собой ту же цель. Первыми странами, способными интегрироваться в европейские структуры, несомненно, станут Турция и Марокко, затем подтянутся Тунис и Алжир. В более долгосрочной перспективе – Египет, это самый лакомый кусок, и он будет решающим. В то же время не исключено, что европейские институты, построенные сегодня на чем угодно, только не на демократии, в будущем проявят больше уважения к воле избирателей; естественным завершением этого процесса станет избрание всеобщим голосованием президента единой Европы. В таком контексте интеграция в Европу густонаселенных стран с высокой демографической динамикой, таких как Турция и Египет, может сыграть определяющую роль. И я уверен, что Бен Аббес видит себя первым избранным президентом Европы, Европы расширенной, включающей в себя страны Средиземноморского региона, – вот они, его истинные устремления. Не надо забывать, что ему всего сорок три года, хотя для спокойствия своего электората он старается выглядеть

старше, культивируя свою полноту и отказываясь красить волосы. В определенном смысле старушка Бат Иеор не так уж сильно ошибалась, когда страдала всех заговором Еврабии, но она не права, воображая, что евро-средиземноморское сообщество окажется в подчиненном положении перед странами Персидского залива: напротив, это будет одна из мощнейших экономических держав мира, так что они смогут вести разговор на равных. Сейчас разыгрывается любопытная комбинация с Саудовской Аравией и прочими нефтяными монархиями: Бен Аббес готов грести лопатой их нефтедоллары, но у него нет ни малейшего намерения жертвовать своим суверенитетом. В некотором роде, он идет по стопам де Голля, подхватив его идею о большой политической игре Франции в арабском мире, и уверяю вас, у него не будет недостатка в союзниках, в том числе среди монархий Персидского залива, затаивших немало обид за то, что, вынужденно подстраиваясь под американские позиции, они попали в ложное положение в глазах арабского мира; теперь они склоняются к мысли, что такой союзник, как Европа, не столь органично связанная с Израилем, может оказаться гораздо более приемлемым вариантом.

Он умолк, проговорив без остановки не меньше получаса. Я подумал, что, может быть, теперь он напишет книгу, попробует, выйдя в отставку, изложить свои мысли на бумаге. Мне показалось, что рассказывает он интересно, ну для тех, кому вообще интересна история. Мари-Франсуаза принесла десерт – хрустящий яблочный пирог с грецкими орехами. Давно я так хорошо не ел, что правда то правда. После ужина следовало бы пройти в гостиную и отведать арманьяка; так мы и поступили. Разомлев от алкогольных паров, я внимательно разглядывал бывшего разведчика, его блестящий череп и домашний пиджак из шотландской ткани, – любопытно, что же лично он обо всем этом думает? А что может думать человек, посвятивший всю свою жизнь изучению *подноготной*? Может, ничего он и не думал и, видимо, даже не голосовал; он слишком много знал.

– Я пошел работать во французские спецслужбы, – заговорил он уже более спокойным тоном, – только потому, что в детстве буквально зачитывался шпионскими романами; ну и еще, мне кажется, я унаследовал отцовский патриотизм, которым всегда восхищался. Отец родился в 1922 году, представляете! Ровно сто лет назад!.. В самом начале войны, в конце июня 1940-го, он вступил в Сопротивление. Уже в то время сама идея французского патриотизма обесценилась – патриотизм, можно сказать, возник в Вальми в 1792-м и начал тихо угасать в окопах Вердена в 1917-м. Чуть больше века – не бог весть что, если разобраться. Кто сегодня в это

верит? Национальный фронт делает вид, что верит, это да, но в их вере есть что-то слишком расплывчатое, безнадёжное; другие же партии откровенно выступают за растворение Франции в европейских структурах. Бен Аббес тоже привержен европейским ценностям, даже больше, чем кто-либо другой, но у него-то есть ясная идея Европы, подлинный проект цивилизационного развития. Высшим образцом для подражания он выбрал императора Августа, а это не слабый образец. До нас дошли речи Августа в Сенате, и, вы знаете, я убежден, что Бен Аббес внимательно их проштудировал. – Он помолчал и добавил задумчиво: – Может, это и будет великая цивилизация, как знать... Вы бывали в Рокамадуре? – спросил он вдруг, когда я уже начал было клевать носом.

Я ответил, что нет, не бывал, ну разве что видел по телевизору.

– Поезжайте туда. Это всего километрах в двадцати отсюда; вам непременно надо туда съездить. Знаете, это же был один из важнейших центров христианского паломничества. Генрих Плантагенет, святой Доминик, святой Бернард, святой Людовик, Людовик XI, Филипп Красивый... все приходили сюда поклониться Черной Мадонне, все взбирались на колени по лестницам, ведущим к святыни, смиренно моля о прощении грехов. В Рокамадуре вы сможете представить себе, до какой степени христианское Средневековье было великой цивилизацией.

Высказывания Гюисманса о Средневековье сквозь туман всплывали у меня в памяти, арманьяк у Таннера был потрясающий, и я собрался уже ответить, как вдруг понял, что не в состоянии сформулировать ни единой внятной мысли. Тут, к моему изумлению, он принялся четко и уверенно декламировать Пеги:

Блажен, кто пал за землю нашу бренную,
Но лишь бы это было в праведной войне,
Блажен, кто пал за все четыре стороны,
Блажен, кто пал в смертельном торжестве^[14].

Ближнего своего всегда сложно понять, как знать, что таится у него в глубине души, а уж без хорошей бутылки так и подавно. Было странно и трогательно смотреть, как читает эти строки интеллигентный пожилой человек, такой элегантный, холеный и ироничный:

Блажен, кто пал в сражениях великих

И на земле простерт, пред ликом Божества.
Блажен, кто пал на взгорье том высоком,
Среди торжеств великих похорон.

Он смиренно, чуть ли не с грустью, покачал головой.

– Видите, тут уже он вынужден обращаться к Богу, чтобы стих его звучал масштабнее. Самой по себе идеи отечества недостаточно, ее обязательно надо подпереть чем-то более могучим, мистикой высшего порядка, и эту связь он выражает с предельной ясностью уже в следующих строках:

Блажен, кто пал за города земные,
Они ведь града Божьего начальные тела,
Блажен, кто пал за огонек в камине,
За честь смиренную родного очага.

Ибо они и образ и начаток,
И плоть и абрис Божьего тепла,
Блажен, кто умер в этом целовании,
В объятьях чести и в земном признании.

– Французская революция, Республика, родина... Да, из этого могло что-то произрасти, и это что-то продержалось чуть больше века. Средневековое христианство продержалось больше тысячелетия. Я знаю, что вы специалист по Гюисмансу, Мари-Франсуаза мне сказала. Но мне кажется, никто не чувствовал душу христианского Средневековья так глубоко, как Пеги, – хоть он и был сторонником светского государства, республиканцем и дрейфусаром. А еще он почувствовал, что истинным божеством Средних веков, живым сердцем молитвы, был не Бог Отец и даже не Иисус Христос, а Дева Мария. Это и вы тоже почувствуете в Рокамадуре...

Я знал, что они собирались завтра или послезавтра вернуться в Париж, чтобы подготовиться к переезду. Теперь, когда соглашение относительно создания “широкого республиканского фронта” было заключено и результаты второго тура уже не вызывали вопросов, их выход на пенсию стал делом решенным. Откланиваясь, я от всей души похвалил кулинарные

таланты Мари-Франсуазы и распрощался на пороге с ее мужем. Он выпил почти столько же, сколько и я, но все еще был в состоянии шпарить наизусть целые строфы из Пеги, и, надо сказать, я находился под сильным впечатлением. Лично я сомневался, что из республики и патриотизма могло “произрасти что-то”, кроме непрерывной череды идиотских войн, но Таннер отнюдь не был маразматиком – мне бы так в его возрасте. Я спустился по ступенькам с крыльца и, обернувшись, сказал ему:

– Я поеду в Рокамадур.

Туристический сезон еще не был в разгаре, и я без труда снял номер в отеле “Бо Сит”, расположенном в средневековой части города; из ресторана открывался прекрасный вид на долину Альзу. Действительно, место было потрясающе, и от посетителей отбоя не было. Туристы стекались сюда со всех концов света, такие разные и такие схожие; вооружившись видеокамерой, они в изумлении глазели на нагромождение башен, крепостных стен, часовен и церквей, карабкающихся по отвесной скале, а я среди всего этого через несколько дней словно выпал из реального времени, и в воскресенье вечером, после второго тура, даже не обратил внимания на убедительную победу Мохаммеда Бен Аббеса. Я медленно вползал в какое-то мечтательное бездействие, и хотя на сей раз интернет в отеле прекрасно работал, я не особенно переживал из-за затянувшегося молчания Мириам. Хозяин и персонал отеля уже успели навесить на меня ярлык холостяка, в меру культурного, в меру печального и явно не большого любителя развлечений, – должен признать, это описание, в общем, соответствовало действительности. Кроме того, для них я был из разряда клиентов, не создающих проблем, а это главное.

Я уже сидел в Рокамадуре неделю или две, когда наконец получил от нее мейл. Она много писала об Израиле, о царившей там совершенно особой атмосфере, исполненной энергии и радости на фоне постоянной подспудной трагедии. Может показаться странным, замечала она, что мы уехали из родной Франции, считая, что подвергаемся там какой-то гипотетической опасности, и эмигрировали в страну, где опасность отнюдь не является гипотетической – силовое крыло Хамас только что решило учинить новую серию терактов, и их смертники, обвязав себя взрывчаткой, чуть ли не каждый день подрывают себя в ресторанах и автобусах. Да, выбор странный, но, оказавшись на месте, начинаешь понимать его: Израиль находится в состоянии войны с момента своего создания, теракты и бои кажутся там чем-то неизбежным, естественным, во всяком случае, радоваться жизни они не мешают. К письму она прицепила две свои

фотографии, в бикини, на пляже Тель-Авива. На одной ее сняли в три четверти, со спины, бегущей к морю, – ее попа вышла очень отчетливо, и я стал дрожить на нее, мне страшно захотелось ее погладить, я даже ощутил болезненное покалывание в пальцах; удивительно, до чего хорошо я помнил ее попу.

Закрыв компьютер, я понял, что она ни единым словом не обмолвилась о возвращении во Францию.

С самого начала моего пребывания здесь я взял себе в привычку каждый день заходить в часовню Богоматери и садится на несколько минут перед Черной Мадонной – той самой, что за последнее тысячелетие привлекла сюда столько паломников, перед которой преклоняли колени святые и короли. Странная это была статуя, свидетельница бесследно исчезнувшего мира. Мадонна, с короной на голове, сидит выпрямившись; ее лицо с закрытыми глазами столь безучастно, что она выглядит инопланетянкой. Младенец Иисус, в котором ничего младенческого не наблюдается, выглядит взрослым и даже старым – он сидит у нее на коленях с прямой спиной; глаза у него тоже закрыты, лицо остроугольное, мудрое и властное, и голова тоже увенчана короной. Я не ощутил в их позах ни нежности, ни материнского самозабвения. Нет, тут изображен не младенец Иисус; это уже царь мира. От его безмятежности, исходящей от него духовной мощи и неосязаемой силы становилось жутковато.

Этот нечеловеческий образ казался полной противоположностью истязаемому, измученному Христу Маттиаса Грюневальда, который произвел такое впечатление на Гюисманса. Средневековые Гюисманса было веком готики и даже поздней готики: пафосной, реалистической и морализаторской, примыкающей скорее уже к Возрождению, чем к романской эре. Я вспомнил о разговоре, который состоялся у меня много лет назад с одним профессором истории в Сорбонне. В начале Средних веков, объяснил он, вопрос об индивидуальном Божьем суде практически не возникал; только гораздо позже, у Босха например, появляются страшные картины, где Христос отделяет когорту избранных от легиона проклятых; где черти тащат нераскаявшихся грешников в ад на вечные муки. Романский взгляд на вещи был иным, гораздо менее персонифицированным: умирая, верующий впадал в состояние глубокого сна и смешивался с землей. После свершения всех пророчеств, в час второго пришествия, весь христианский народ, единый, всецелый, восставал из могил, воскрешенный в теле славы своей, и стройными рядами шествовал в рай. Для людей романской эпохи нравственный суд,

суд индивидуальный и вообще индивидуальность не были достаточно ясными понятиями, да и я чувствовал, как растворяется моя собственная индивидуальность по мере того, как я, сидя перед рокамадурской мадонной, предавался нескончаемым грезам.

Пора было, однако, возвращаться в Париж, уже середина июля все-таки, я тут проторчал, оказывается, больше месяца – сообразив это как-то утром, я искренне изумился; по правде говоря, спешить мне было некуда, я получил мейл от Мари-Франсуазы, которая связалась с нашими коллегами: до сих пор никто из них не получил никаких сообщений от университетского начальства, и все пребывали в полном недоумении. Ну а в остальном – прошли парламентские выборы, их итоги вполне соответствовали ожиданиям, и было сформировано правительство.

В деревне настало время увеселительных мероприятий для туристов, в основном гастрономического характера, но и культурного тоже, и накануне отъезда, совершая свой ежедневный поход в часовню Богоматери, я случайно попал на публичные чтения Пеги. Я сел в предпоследнем ряду; народу пришло немного, в основном это были молодые люди в джинсах и майках поло, с одинаково открытым и дружелюбным выражением лица, которое почему-то так хорошо удается юным католикам.

О Мать, вот сыновья твои, так долго бившиеся,
Пусть Бог не судит их как духов поднебесных,
Да будет суд им как изгнанникам, бредущим
К себе домой путями заповедными.

Александрийский стих ритмично звучал в наступившей тишине, а я недоумевал: что могут понять в поэзии Пеги и его патриотической мятежной душе эти юные католики-гуманитаристы. Впрочем, дикция у актера была замечательной, мне даже показалось, что это известный театральный актер, видимо из Комеди Франсез, но, по-моему, он и в кино снимался, мне показалось, что я где-то видел его фотографию.

О Мать, вот сыновья твои и их несметный полк,
Да не судимы будут по нищете их голой,
Но да подбавит Бог им горсточку земли,
Погибельной для них, но ими столь любимой.

Это был польский актер, ну конечно, но фамилию я напрочь забыл; возможно, он тоже католик, вообще актеры нередко бывают католиками, у них все-таки странное ремесло, и божественное вмешательство тут представляется более правдоподобным, чем во многих других профессиях. Интересно, любят ли эти молодые католики свою землю? Готовы ли они погибнуть за нее? Я вот чувствовал, что готов погибнуть, но не то чтобы за свою землю, я был готов погибнуть *в широком смысле слова*, короче, я пребывал в странном состоянии, мне казалось, что Мадонна восстает, снимается со своего пьедестала, вырастает в воздухе, а младенец Иисус словно отделяется от нее, мне чудилось, что теперь ему достаточно поднять руку, чтобы язычники и идолопоклонники были уничтожены, а ключи от мира вручены ему как “властелину, господину и повелителю”.

О Мать, вот сыновья твои, блуждавшие так долго,
По низменным делам судить не нужно их,
Пусть их как сына блудного простят и примут,
Да упадут они в объятия протянутых двух рук.

Либо я просто проголодался – накануне я забыл поесть, и, наверно, лучше мне было вернуться сейчас в отель и заказать несколько утиных ножек, чем рухнуть на пол между скамьями, пав жертвой религиозной гипогликемии. И опять я подумал о Гюисмансе, о страданиях и сомнениях, преследовавших его на пути обращения, о его отчаянном желании примкнуть к какому-то обряду.

Я высидел весь поэтический концерт, но ближе к его окончанию понял, что, несмотря на невероятную красоту текста, я бы предпочел в последний день остаться тут в одиночестве. В этой суровой статуе скрывалось нечто гораздо большее, чем просто привязанность к родине, к земле, чем прославление воинской доблести; нечто большее даже, чем детская тяга к матери. В ней было нечто таинственное, жреческое и царственное, что Пеги не в состоянии был понять, а Гюисманс и подавно. На следующее утро, загрузив машину и заплатив за номер, я вернулся в часовню, где на сей раз никого не было. Мадонна, спокойная и нетленная, ждала меня в тени. В ней чувствовалась властность, в ней чувствовалась мощь, но постепенно я понял, что теряю контакт с ней, что она удаляется от меня в пространстве и в веках, а я все сидел, съежившись на своей скамье, разбитый и опустошенный. Через полчаса я поднялся и, поскольку Дух окончательно расстался со мной, умалив меня до ущербного, брэнного

тела, печально спустился к парковке.

Часть четвертая

По дороге в Париж, проезжая через пункт оплаты Сен-Арну, минуя Савиньи-сюр-Орж, Антони, потом Монруж и сворачивая к съезду на Порт д'Итали, я вполне отдавал себе отчет, что еду навстречу безрадостной жизни, правда, не пустой, а, напротив, переполненной всякими мелкими посягательствами на нее: как я и полагал, кто-то, воспользовавшись моим отсутствием, занял закрепленное за мной парковочное место у дома, в холодильнике обнаружилась небольшая протечка, – на этом домашние неурядицы заканчивались. Но мой почтовый ящик был завален казенными письмами, и на некоторые из них мне следовало срочно ответить. Поддержание своей административной жизни на должном уровне требует практически непрерывного присутствия; уезжая надолго, рискуешь нажить себе кучу проблем с какой-нибудь конторой, и я понимал, что мне понадобится несколько полных рабочих дней, чтобы наверстать упущенное. Для начала я просто выкинул все бесполезные рекламные листки, за исключением специальных предложений (три безумных дня в “Офис-Депо”, скидки для постоянных клиентов в “Кобразон”), и перевел взгляд на небо однообразно серого цвета. Так я просидел не один час, периодически подливая себе рому, прежде чем взялся наконец за письма. В первых двух агентство по дополнительному медицинскому страхованию информировало меня о невозможности удовлетворить некоторые из моих запросов о возмещении расходов и убедительно просило обратиться с повторным запросом, приложив к нему фотокопии недостающих документов: подобные послания были для меня обычным делом, и, как правило, я даже не отвечал на них. Зато третье письмо, отправителем которого значилась мэрия города Невера, явилось для меня полной неожиданностью. Мэрия выражала мне глубокие соболезнования в связи с кончиной матери и сообщала, что, поскольку тело перевезено в городской морг, мне следует принять надлежащие меры; письмо было датировано 31 мая. Я на скорую руку разобрал всю стопку: в ней среди прочего попались два повторных обращения от 14 и 28 июня. И наконец, в июле мэрия Невера известила меня о том, что в соответствии со статьей L2223-27 Общего кодекса административно-территориальных образований муниципалитет взял на себя заботы по захоронению тела моей матери на общественном участке городского кладбища. В течение пяти лет я могу потребовать эксгумации с целью частного перезахоронения; по истечении

указанного срока тело будет кремировано, а пепел развеян в Саду памяти. В случае если я приму решение об эксгумации, мне надлежит оплатить работу муниципальных служб, катафалк, четырех носильщиков и издержки, связанные с собственно погребением.

Я, конечно, был далек от мысли, что моя мать вела активную социальную жизнь, посещала лекции о цивилизациях доколумбовой эпохи или осматривала романские церкви провинции Ниверне в компании женщин своего возраста; но мне и в голову не приходило, что ее одиночество было настолько беспросветным. Возможно, они пытались связаться и с моим отцом, но он оставил письма без ответа. Все-таки мне стало немного не по себе, оттого что ее предали земле на участке неимущих (задав поиск в интернете, я выяснил, что прежде так назывались общие захоронения), интересно, какова судьба ее французского бульдога (ОЗЖ, прямая эвтаназия?). Я отложил в сторону счета и уведомления об автоматическом списании средств – тут все просто, их надо только разложить по соответствующим папкам, – выделив таким образом из общей кучи письма от двух главных корреспондентов, задающих тон человеческой жизни: службы медицинского страхования и налоговой инспекции. У меня не хватило духу сразу впрячься в это, и я решил пройтись по Парижу – ну нет, не по Парижу, это было бы чересчур; в первый день я предпочел ограничиться прогулкой по своему району.

Вызвав лифт, я понял, что не получил ни одного письма из университета. Тогда я вернулся в квартиру проверить выписки со счета: зарплату мне перевели, как обычно, в конце июня; то есть мое положение оставалось по-прежнему неясным.

Смена политического строя пока не оставила видимых следов в моем квартале. Китайцы, сбившись в тесные группки, с купонами в руках, толклись, как раньше, у баров с кассами конного тотализатора. Другие на дикой скорости катили тележки, нагруженные рисовой лапшой, соевым соусом и манго. Казалось, ничто, даже исламский порядок, не в состоянии притормозить их бурную деятельность – исламский прозелитизм, так же как и до него христианский, скорее всего, бесследно растворится в океане этой грандиозной цивилизации.

Я бродил по нашему чайна-тауну уже больше часа. Церковь Святого Ипполита по-прежнему зазывала своих прихожан на курсы китайского языка и китайской кухни для начинающих; флаеры, приглашающие на вечеринки *Asian Fever* в Мезон-Аль-форе, тоже никуда не делись. Одним словом, я не обнаружил никаких видимых признаков перемен, если не

считать ликвидации кошерного отдела в супермаркете “Жеан Казино”; но ведь большие торговые сети всегда отличались приспособленчеством.

В торговом центре “Итали-2” ситуация оказалась несколько иной. Как я и предполагал, магазин “Дженнифер” закрылся, на его месте возник какой-то провансальский биобутик, торгующий эфирными маслами, питательным шампунем с оливковым маслом и медом с ароматами гарриги. Сложнее было объяснить тот факт, что сетевой магазин “Современный человек”, находившийся на малопосещаемом третьем этаже, тоже закрыл свои двери, возможно, по чисто экономическим соображениям, и пока что его ничем не заменили. Но главное, неуловимо преобразились посетители. Как и во всех торговых центрах – хотя здесь это не так бросалось в глаза, как в районах Дефанс и Ле-Аль, – тут вечно слонялись толпы местной шпаны; теперь они словно испарились. То, что женщины стали одеваться иначе, я заметил сразу, хотя и не смог проанализировать это преобразование; число исламских платков увеличилось ненамного, дело было не в этом, но я прощлялся там почти час, пока до меня вдруг не дошло, в чем дело: все женщины были в брюках. Угадывание женских ляжек и мысленная проекция, доходящая до точки их скрещения у лобка, – весь этот процесс, возбуждающая сила которого прямо пропорциональна длине обнаженных ног, всегда был для меня настолько привычным, машинальным и, в каком-то смысле, свойственным мне по природе, что я даже сразу не сообразил, что случилось, но факт был налицо: платья и юбки попросту исчезли. Появилась другая одежда, нечто вроде длинного хлопчатобумажного балахона до середины бедра, сводящего на нет весь смысл обтягивающих брюк, а их еще некоторые женщины могли бы себе позволить; что касается шорт, то о них, само собой, нечего было и мечтать. Созерцание женской попы, источник примитивного романтического утешения, тоже стало невозможным. Вот и наступило время перемен; дело явно шло к настоящему перелому. Переключаясь в течение нескольких часов с канала на канал, никаких других метаморфоз я не выявил, а эротические телепередачи в любом случае уже давно вышли из моды.

Только через две недели после возвращения я получил конверт из Парижа-III. По новому уставу Исламского университета Сорбонна, мне запрещалось там преподавать; Робер Редигер, новый ректор университета, сам лично подписал письмо; он выражал глубокое сожаление и заверял меня, что высокое качество моих научных работ не подвергается никакому сомнению. Конечно, мне не возбраняется продолжить карьеру в светском университете; в случае если я тем не менее откажусь от этой мысли,

Исламский университет Сорбонна готов незамедлительно начать выплачивать мне пенсию, ежемесячная индексация которой будет проводиться в соответствии с фактическим уровнем инфляции, – на сегодняшний день она составляет 3 472 евро. Я должен обратиться в канцелярию для осуществления всех необходимых действий по ее оформлению.

Я перечитал письмо три раза подряд, не веря своим глазам. С точностью до евро эта пенсия соответствовала той, которую я получил бы в шестьдесят пять лет, завершив профессорскую карьеру. Они и правда готовы были пойти на колоссальные финансовые жертвы, лишь бы никто не гнал волну. Они наверняка переоценили степень вредоносности университетских преподавателей и их способность с успехом организовать протестные действия. Ученое звание само по себе уже давно не давало прямого доступа к разделам “мнений” и “дискуссий” влиятельных изданий, ставших совершенно закрытым, эндогамным пространством. Кроме того, даже единодушный протест университетской профессуры прошел бы практически незамеченным, но откуда им было это знать, в Саудовской-то Аравии. В сущности, они все еще верили в силу интеллектуальной элиты, и в этом было даже что-то трогательное.

Подойдя к университету, я не обнаружил никаких новшеств, не считая звезды и полумесяца из золотистого металла, украсивших большую надпись над главным входом: “Новая Сорбонна – Париж-III”; внутри административных помещений перемены были более заметны. В холле посетителей встречала фотография паломников, совершающих ритуальный обход вокруг Каабы, а стены офисов украшали плакаты с сурами Корана, выполненными арабской вязью; все секретарши сменились, я, во всяком случае, никого не признал, и все они были в хиджабах. Одна из них вручила мне на редкость незатейливый бланк заявления о пенсии; наскоро заполнив его, я поставил свою подпись и вернул ей. Выйдя во двор, я осознал, что за эти несколько минут моя университетская карьера завершилась.

Дойдя до метро “Сансье”, я в нерешительности остановился перед входом; мне не хватало духу вернуться домой как ни в чем не бывало. На улице Муффтар как раз открывался рынок. Я побродил вокруг лотка с овернскими колбасными изделиями, обвел невидящим взглядом колбаски со всякими добавками (с сыром, с фисташками, с грецкими орехами) и тут увидел идущего по улице Стива. Он тоже заметил меня и, по-моему, собрался повернуть обратно, чтобы не столкнуться со мной, но не успел, я

уже шел ему навстречу.

Как я и предполагал, он согласился преподавать в новом университете; теперь он читал курс о Рембо. Ему явно неловко было мне это рассказывать, и он добавил, хотя я его ни о чем не спрашивал, что новые власти вообще не вмешиваются в содержание лекций. Ну и само собой, обращение Рембо в ислам в конце жизни считается непреложной истиной, хотя обычно оно как минимум подвергается сомнению; что же касается самого важного – поэтического анализа, – то тут они совсем не вмешиваются, честное слово. Поскольку я слушал, не выказывая никакого возмущения, его немного отпустило, и в конце концов он даже предложил мне выпить кофе.

– Я долго колебался, – сказал он, заказав бокал мюскаде. Я кивнул, понимающе и даже сердечно; по моим оценкам, время его колебаний не превысило десяти минут. – Но зарплата уж больно заманчивая.

– Даже пенсия завидная.

– Зарплата намного выше.

– Насколько?

– В три раза.

Десять тысяч евро в месяц посредственному преподавателю, не пользующемуся ни малейшей популярностью, который так и не сумел выжать из себя ни единой публикации, достойной этого названия, – да, со средствами тут было явно все в порядке.

– Оксфорд у них буквально уплыл из-под носа, – сказал Стив. – Катарцы перекупили его в последнюю минуту; тогда саудовцы решили вбухать все в Сорбонну. Они даже приобрели несколько квартир в пятом и шестом округах для служебного жилья; ему самому предоставили чудную трехкомнатную квартирку на улице Драгон по смешной цене.

– Мне кажется, они рады были бы, если бы ты остался, – добавил он, – но не знали, где тебя искать. Они даже спрашивали, не могу ли я связать их с тобой; я вынужден был ответить отрицательно, сказал, что мы не общаемся в нерабочее время.

Вскоре он проводил меня до метро.

– А что студентки? – спросил я, когда мы подошли.

Он широко улыбнулся.

– Ну, в этом смысле, конечно, многое поменялось, или, скажем так, приняло иные формы. Я вот женился, – добавил он с каким-то даже вызовом и уточнил: – На студентке.

– Они и этим занимаются?

– Не совсем. Я бы сказал, не препятствуют знакомству. В следующем месяце возьму себе вторую жену, – заключил он и удалился по направлению к улице Мирбель, а я, обомлев, буквально застыл у входа в метро.

Я простоял так несколько минут, прежде чем решился поехать домой. Спустившись на перрон, я обнаружил, что следующий поезд в сторону мэрии Иври придет только через семь минут; подъехавший состав направлялся в Вильжюиф.

Я находился в *расцвете лет*, никакая смертельная болезнь не угрожала напрямую моей жизни, мелкие болячки, то и дело одолевавшие меня, были мучительны, но, в общем-то, вполне терпимы; пройдет лет тридцать, а то и сорок, прежде чем я попаду в ту черную полосу, где все болезни более или менее смертельны, и всякий раз так называемый *летальный исход* весьма вероятен. Друзей, понятное дело, у меня не было, а когда они у меня были, с другой стороны? И вообще, если подумать, зачем они нужны, друзья эти? На определенном этапе физической деградации – а она наступит довольно скоро, не пройдет и десяти лет или того меньше, как она станет очевидной и я попаду в разряд *еще не старых*, – только отношения супружеского типа имеют хоть какой-то смысл (тела, скажем так, сливаются, возникает, в некотором роде, новый организм – ну, конечно, если верить Платону). Мне же супружеские отношения не грозили, понятное дело. Мейлы Мириам за этот месяц стали реже и короче. Недавно она перестала обращаться ко мне “мой дорогой”, перейдя на более нейтральное “Франсуа”. Теперь это, видимо, вопрос еще пары недель, и она, как и все ее предшественницы, объявит мне, что *встретила одного человека*. Встреча уже состоялось, я не сомневался в этом, не знаю толком почему, но что-то такое было в словах, которые она употребляла, и в неуклонном сокращении числа смайликов и сердечек, обильно усыпавших раньше ее письма, что убеждало меня в моей правоте; она просто еще не собралась с духом мне признаться. Она отрывалась от меня, вот и все, начинала новую жизнь в Израиле, а на что я, собственно, надеялся? Красивая девочка, умная, милая, в высшей степени соблазнительная, – да, именно, на что я, собственно, надеялся? Об Израиле, во всяком случае, она неизменно отзывалась с восторгом. “Тут трудно, но зато мы знаем, зачем мы здесь”, – писала она. Вот уж чего обо мне никак не скажешь.

Конец моей университетской карьеры лишал меня – я по-настоящему осознал это только через несколько недель – всех контактов со студентками; ну и как же быть? Что же мне теперь записаться на *Meetic* по

примеру стольких моих предшественников? Я был человеком образованным, достигшим определенного уровня; к тому же в *расцвете лет*, как я уже отметил; и если бы даже по истечении пары месяцев трудоемкой переписки, когда редкие моменты воодушевления – все равно по какому поводу, будь то хоть последние квартеты Бетховена, – чуть припорошили бы постоянно растущую вселенскую скуку и замерцала бы надежда на какие-то волшебные мгновения или на некую близость, сотканную из смеха и общих восторгов, если бы по прошествии этих нескольких недель я решился бы встретиться с одной из моих многочисленных подруг по несчастью, что бы из этого вышло? Эректильный сбой с одной стороны, вагинальная сухость – с другой; спасибо, не надо.

Я крайне редко заходил на сайты эскорт-агентств, как правило, это случалось со мной летом, когда я пытался заполнить, так сказать, паузу между двумя студентками; в общем и целом я остался скорее доволен. Быстрый поиск по интернету убедил меня в том, что новый исламский порядок никак не отразился на их функционировании. Я проканителлся довольно долго, перебирая бесчисленные странички кандидаток, некоторые я распечатывал, чтобы изучить на досуге (сайты девушек по вызову устроены наподобие гастрономических путеводителей: проникнутые неподдельным лиризмом описания блюд сулят наслаждения гораздо более яркие, чем те, что испытываешь в итоге наяву). Наконец я остановился на *Надие-туниске* и даже возбудился, оттого что выбрал мусульманку, учитывая нынешний политический контекст. Оказалось, что Надия каким-то образом избежала повальной исламизации, поразившей молодых людей ее поколения. Дочь рентгенолога, она с детства жила в богатых кварталах и даже не думала закрывать лицо. Она перешла на второй курс магистратуры по специальности “современная литература” и вполне могла оказаться одной из моих бывших студенток; выяснилось, что нет, она до этого училась в Париже-VII. В сексуальном плане она работала на высоком профессиональном уровне, но позы меняла слишком механически, чувствовалось, что мысли ее далеко, она слегка оживилась, лишь когда я перешел к анальному сексу; попа у нее была маленькая и узкая, но, как ни странно, никакого удовольствия я не получил, я вполне мог и дальше так драть ее, не испытывая ни усталости, ни радости, несколько часов подряд. В ту минуту, когда она начала тихо постанывать, я вдруг понял, что она боится испытать удовольствие, а потом, может быть, и какие-то чувства; она быстро обернулась и заставила меня кончить ей в рот.

До моего ухода мы еще немного поболтали, сидя на ее раскладном

диване из “Дома диванов”, чтобы добрать до оплаченного мною часа. Она была, пожалуй, умна, но неоригинальна в суждениях и решительно обо всем, будь то избрание Мохаммеда Бен Аббеса или долги стран третьего мира, думала именно то, что принято думать. В ее со вкусом обставленной студии царил идеальный порядок; наверняка она вела себя очень осмотрительно, не проматывала на дорогие шмотки свои заработки, а аккуратно откладывала большую их часть. И действительно, она подтвердила, что всего за четыре года – она занималась этим с восемнадцати лет – ей удалось скопить на покупку студии, куда она и водила клиентов. Она собиралась продолжать в том же духе до конца учебы, а потом рассчитывала сделать карьеру в области электронных медиа.

Несколько дней спустя я остановил свой выбор на *Сучке Бабет*, которая собрала на сайте массу восторженных отзывов, – она представлялась “горячей штучкой без границ и запретов”. И на самом деле, в своей симпатичной, немного старомодной двухкомнатной квартире она приняла меня в лифчике с открытой грудью и стрингах с разрезом. У нее были длинные светлые волосы и простодушное, почти ангельское личико. Она тоже высоко ценила содомию, но не считала нужным подавлять свои восторги. Прошел час, а я так и не кончил, и она похвалила мою выдержку; впрочем, и на этот раз, хотя у меня и стоял вовсю, ни малейшего удовольствия я не получил. Она попросила кончить ей на грудь; я подчинился. Размазав по себе сперму, она призналась, что обожает, когда спермой покрыто все тело целиком; она регулярно принимала участие в *ганг-бангах*, обычно в свингерских клубах, но иногда и в общественных местах вроде паркингов. Хотя она назначала минимальный тариф – всего пятьдесят евро с носа, – эти вечеринки оказывались весьма доходными, поскольку ей случалось приглашать на них по сорок – пятьдесят мужиков, которые, сменяя друг друга, имели ее во все три дырки, а потом кончали ей на тело. Она обещала предупредить меня, когда запланирует очередной *ганг-банг*; я поблагодарил. Не то что бы меня это привлекало, просто она была мне симпатична.

Короче, обе девушки по вызову оказались *хороши*. Но все же не настолько, чтобы у меня возникло желание снова увидеться с ними или завязать длительные отношения; вкус к жизни они во мне тоже не пробудили. Что ж теперь умирать, что ли. Я счел, что это было бы преждевременным решением.

Умер между тем мой отец. Сильвия, его спутница жизни, позвонила,

чтобы поставить меня в известность. Нам с вами не так часто, с сожалением сказала она по телефону, выпадала возможность пообщаться. Это был удачный эвфемизм: на самом деле я *никогда* с ней не общался и даже не подозревал о ее существовании, если не считать туманных намеков отца, прозвучавших в нашем последнем разговоре два года тому назад.

Она встретила меня на вокзале в Бриансоне; путешествие мое прошло ужасно. Экспресс до Гренобля был еще туда-сюда, Управление железных дорог все-таки обеспечивало минимальный сервис в скоростных поездах, махнув рукой на региональные, и тот, что шел до Бриансона, несколько раз ломался в пути, опоздав в итоге на час сорок; в туалете был засор, потоки воды вперемешку с дерьмом вытекали в тамбур и грозили разлиться по купе.

Сильвия ждала меня за рулем “мицубиси-паджеро” *Instyle*, передние сиденья которого, к моему несказанному удивлению, были покрыты чехлами с леопардовым принтом. “Мицубиси-паджеро”, как я выяснил по возвращении, купив специальный номер “Автожурнала”, “один из наиболее эффективных внедорожников при эксплуатации в неблагоприятных условиях”. В комплектации *Instyle* он оснащен кожаным салоном, электрическим люком, видеокамерой заднего вида и восьмиваттной аудиосистемой *Rockford Acoustic* на 22 динамика... Это было невероятно; всю свою жизнь – ну, всю ту часть своей жизни, которая была мне известна, – отец, чуть ли не кичась этим, держался в рамках буржуазного стиля, банального до оскомины, предпочитая серые тройки в полоску, максимум темно-синие, и английские фирменные галстуки, – одним словом, его манера одеваться в точности соответствовала его должности: он был финансовым директором крупного предприятия. Вьющиеся светлые волосы, голубые глаза, хорош собой, – ему запросто могли бы предложить роль в каком-нибудь голливудском фильме, которые снимают время от времени из малопонятной, но вроде бы страшно важной жизни мира финансов, *субстандартных кредитов* и Уолл-стрит. Мы не виделись с ним десять лет, и я понятия не имел, на что он стал похож, но я, конечно, не ожидал, что он превратится в провинциального искателя приключений.

Сильвии было около пятидесяти, то есть лет на двадцать пять меньше, чем ему; не будь меня, она бы, наверное, получила одна все наследство, но я существовал, и она обязана была уступить причитающуюся мне долю – как ни крути, пятьдесят процентов, поскольку я был его единственным ребенком. В такой ситуации вряд ли следовало ожидать от нее теплых чувств, и все же она вела себя вполне пристойно и общалась со мной без напряжения. Я добросовестно звонил ей, докладывая о все возрастающем

опоздании поезда, и нотариус сумела перенести нашу встречу на шесть вечера.

Оглашение завещания отца не таило в себе никаких сюрпризов: его имущество было в равных долях поделено между нами; иных распоряжений в нем не содержалось. Но дама-нотариус хорошо потрудились и уже начала оценивать наследство. Отец получал очень неплохую пенсию от компании *Unilever*, но наличности имел немного: две тысячи евро на текущем счету, тысяч десять на сберегательном плюс акции, которые он приобрел довольно давно и, наверное, успел о них забыть. Основным его имуществом был дом, в котором они жили с Сильвией: риелтор из Бриансона оценил его в четыреста тысяч евро. Практически новый внедорожник “мицубиси” продавался на “Аргусе”^[15] за сорок пять тысяч. Особенно я был поражен, узнав о существовании целой коллекции дорогих ружей, перечисленных нотариусом в порядке убывания стоимости: самыми дорогими оказались верней-каррон “Платин” и шапюю “Урал Элит”. Все вместе они потянули как-никак на восемьдесят семь тысяч евро, гораздо больше, чем внедорожник.

– Он коллекционировал оружие? – спросил я у Сильвии.

– Это не коллекционное оружие, просто он много охотился, охота стала его настоящей страстью.

Итак, бывший финансовый директор из *Unilever* покупает на старости лет полноприводный автомобиль для пересеченной местности, возрождая в себе инстинкты охотника-собирателя: невероятно, но с другой стороны, почему бы и нет. Нотариус тем временем закончила; оформление наследства обещало быть до обидного простым. Невообразимая скорость процедуры не помешала мне, однако, учитывая, что мой поезд опоздал по дороге сюда, пропустить и обратный, последний на сегодня. Это ставило Сильвию в неловкое положение, что мы поняли почти одновременно, садясь в ее машину. Я тут же постарался разрядить обстановку, горячо заверив ее, что предпочитаю остановиться в гостинице возле вокзала. Мой поезд в Париж уходит ранним утром, и мне во что бы то ни стало надо на него успеть, так как у меня намечены очень важные встречи в столице, – вышло весьма убедительно. Я солгал вдвойне: у меня не только не было назначено ни единой встречи на завтра, равно как и ни на какой другой день, но и первый поезд в Париж отправлялся около полудня, так что раньше шести вечера мне туда было не попасть. Поняв, что не пройдет и дня, как я навсегда исчезну из ее жизни, она успокоилась и чуть ли не с энтузиазмом пригласила меня зайти выпить “у нас дома”, как она упорно говорила. Это уже не только не было “у них дома”, поскольку отец умер, но

в скором времени перестанет быть и “у нее дома”: если верить цифрам, с которыми меня ознакомили, у нее не окажется иного выбора, кроме как выставить дом на продажу, чтобы выплатить мне мою долю наследства.

Их шале, расположенное на склонах долины Фрессиньер, оказалось гигантским; на подземной стоянке мог бы поместиться добрый десяток машин. Следуя по коридору в гостиную, я остановился перед охотничьими трофеями – видимо, это были чучела серн и муфлонов, ну, короче млекопитающих такого типа; еще там был кабан, его я опознал без труда.

– Раздевайтесь, прошу вас, – сказала Сильвия. – Знаете, охота это так славно; я тоже раньше не понимала, что это такое. Они охотились все воскресенье, а потом мы ужинали с другими охотниками и их женами, нас было пар десять, не меньше. Как правило, они приходили к нам на аперитив, и потом мы отправлялись в один ресторанчик в соседней деревне, который мы по такому случаю снимали целиком.

Итак, мой отец *славно* прожил остаток своих дней; это тоже меня поразило. За всю свою юность я ни разу не видел никого из его коллег, думаю, и он вряд ли общался с ними за пределами офиса. Интересно, были ли друзья у моих родителей. Возможно, но что-то я никого не мог припомнить. Мы жили в большом доме в Мезон-Лаффите, конечно, не таком большом, как этот, но все-таки. По моим воспоминаниям, никто не приходил к нам ужинать, не приезжал на выходные, ну и так далее, как это принято среди *друзей*. Я не думаю – и это еще больше обескураживало меня, – что у отца водились, скажем так, *любовницы*, но тут я, конечно, не поручусь, никаких доказательств у меня не было; просто сама идея любовницы никак не вязалась в моей памяти с образом отца. Этот человек прожил две отдельные жизни, без единой точки пересечения между ними.

Гостиная оказалась просторной, наверное, она занимала весь этаж; справа от входа, возле кухни, стоял большой деревенский стол. Остальное пространство было заполнено низкими столами и глубокими диванами из белой кожи; тут тоже висели на стене охотничьи трофеи, на специальной стойке красовалась отцовская коллекция ружей: это были подлинные произведения искусства с металлическими инкрустациями тонкой работы, излучавшими мягкое свечение. Пол устлали шкуры животных, по большей части, видимо, овечьи; все это напоминало декорации немецких порнофильмов семидесятых годов, где действие происходит в тирольском охотничьем домике. Я направился к большому окну, занимавшему целиком дальнюю стену комнаты, за ним расстилался горный пейзаж.

– Прямо напротив виднеется пик Ла-Мейж, – сказала Сильвия. – А дальше к северу Барр-дез-Экрэн. Выпьете что-нибудь?

Я впервые видел столь богато оснащенный домашний бар – тут стояли десятки разнообразных фруктовых водок и какие-то ликеры, о существовании которых я даже не подозревал, но я удовольствовался мартини. Сильвия зажгла настольную лампу. Вечерело, на снега, устилавшие горы, ложились голубые отблески, и мне стало как-то не по себе. Даже отвлекаясь от вопросов наследства, я не мог себе представить, что она захочет остаться одна в этом доме. Она все еще работала на какой-то должности в Бриансоне – по дороге в нотариальную контору она сказала, на какой именно, но я забыл. Совершенно ясно, что, даже поселись она в хорошей квартире в центре Бриансона, ее жизнь будет теперь гораздо тоскливее, чем раньше. Я нехотя сел на диван и согласился на второй мартини, решив про себя, что он станет последним, после чего я попрошу ее отвезти меня в отель. Нет, мне никогда не удастся понять женщин, пора бы уж признать очевидное. Это была обычная женщина, и ее обычность казалась даже чрезмерной; и тем не менее она сумела что-то такое разглядеть в моем отце, что ни мне, ни моей матери обнаружить не удалось. Думаю, дело было не только или не столько в деньгах; она сама неплохо зарабатывала, если судить по ее одежде, прическе и вообще по манере держаться. В этом заурядном пожилом человеке она первая нашла что полюбить.

Вернувшись в Париж, я обнаружил мейл, которого со страхом ждал вот уже несколько недель; ну, не совсем так, в сущности, я уже смирился с неизбежным, единственный вопрос, который я действительно задавал себе, – напишет ли и Мириам тоже, что *встретила одного человека*, в смысле – употребит ли это выражение.

Употребила. В следующем абзаце сообщив, что глубоко сожалеет. Она уверяла, что ей всегда будет немного грустно вспоминать обо мне. Полагаю, она говорила правду – хотя правда и то, что вспоминать обо мне она будет, скорее всего, не слишком часто. Потом она сменила тему, делая вид, будто страшно озабочена политической ситуацией во Франции. Какая чуткость с ее стороны – типа наша любовь оказалась в каком-то смысле сметена вихрем истории; не очень честно, но зато какая чуткость!

Оторвавшись от компьютера, я подошел к окну; одинокое лентикулярное облако, отливавшее по бокам оранжевым светом в лучах заката, зависло в вышине над стадионом Шарлети, неподвижное и безразличное, как межгалактический корабль. Я не чувствовал ничего,

кроме притупленной глухой боли, но и ее было достаточно, чтобы мысли мои затуманились; я понимал только, что снова остался один, что желание жить неуклонно угасает и впереди у меня нет ничего, кроме очередных неприятностей. Несмотря на упрощенную процедуру, мое увольнение все же повлекло за собой целую бюрократическую эпопею, связанную с социальными службами и дополнительной медицинской страховкой, но я малодушно откладывал это на потом. И напрасно: даже моей более чем приличной пенсии не хватит в случае серьезного заболевания; зато ее должно было с лихвой хватить на девушек по вызову. Откровенно говоря, никакого желания вызывать их я не испытывал, но неясное кантовское понятие “долга перед самим собой” пульсировало в моем сознании, когда я решил наконец заглянуть на свой любимый сайт эскорт-услуг. В итоге я остановился на объявлении, помещенном двумя девушками: Рашида, марокканка, 22 года, и Луиса, испанка, 24 года, предлагали “отдаться колдовским чарам пылкого шаловливого дуэта”. Стоил дуэт, конечно, дороговато, но я решил, что в сложившихся обстоятельствах чрезмерные траты оправданны; мы назначили свидание на тот же вечер.

Поначалу все шло как обычно, то есть скорее хорошо: девушки снимали вдвоем чудную студию около площади Монж, они зажгли благовония и поставили приятную музыку типа пения китов, я входил то в одну, то в другую по очереди, спереди и сзади, не испытывая ни усталости, ни удовольствия. И только через полчаса, когда я поставил Луису раком, произошло что-то неожиданное: Рашида поцеловала меня и с усмешкой скользнула мне за спину; сначала она положила руку мне на задницу, потом приблизилась и принялась лизать мне яйца. Понемногу, с растущим восторгом, я стал ощущать, как во мне возрождается позабытая дрожь счастья. Возможно, мейл Мириам и тот факт, что она в некотором роде официально меня бросила, что-то высвободили во мне, не знаю. Ошалев от благодарности, я сорвал презерватив и обернулся навстречу ее губам. Через две минуты я кончил ей в рот; она добросовестно слизнула все до последней капли, а я гладил ее по голове.

Уходя, я всучил каждой еще по сто евро на чай; не исключено, что мои пессимистические выводы были преждевременны, эти девочки тому живое свидетельство – в придачу к невероятному преображению моего отца на старости лет; как знать, если бы я постоянно встречался с Рашидой, между нами в конце концов возникло бы любовное чувство, во всяком случае, у меня не было ровным счетом никаких причин утверждать обратное.

Это мимолетное дуновение надежды я ощутил в тот момент, когда вся

Франция испытала прилив оптимизма, чего с ней не случалось после завершения Славного тридцатилетия полвека тому назад. Первые шаги правительства национального согласия, созданного Мохаммедом Бен Аббесом, были единодушно признаны большим успехом, никогда еще только что избранный президент Республики не получал такого кредита доверия, тут все обозреватели сошлись во мнениях. Я часто вспоминал слова Таннера о честолобивых международных планах нового президента и с интересом отметил про себя новость, которая была оставлена без комментариев: речь шла о возобновлении переговоров относительно вступления Марокко в Евросоюз; что касается Турции, то тут уже даже были назначены точные даты. Таким образом, воссоздание Римской империи шло полным ходом, да и в плане внутренней политики Бен Аббес действовал безошибочно. Непосредственным результатом его избрания стало падение уровня преступности, причем очень резкое: в самых проблемных кварталах цифры сократились прямо-таки на порядок. Он также мгновенно достиг успеха в борьбе с безработицей – кривая показателей буквально рухнула вниз. Такой удачей он был обязан, вне всякого сомнения, массовому уходу женщин с рынка труда, что, в свою очередь, стало результатом значительного увеличения семейных пособий – первой социальной меры, так символически предложенной новым правительством. Правда, эти деньги выплачивались при условии полного отказа от всякой профессиональной деятельности, отчего левые поначалу слегка поскрежетали зубами, но едва им стало понятно, как на эту меру реагируют показатели безработицы, вышеуказанное скрежетание само собой утихло. Бюджетный дефицит при этом несколько не вырос: увеличение семейных пособий было полностью компенсировано радикальным сокращением расходов на образование, которые у предыдущего правительства занимали – с большим отрывом – первую строчку государственных расходов. В рамках новой системы обязательное школьное обучение ограничивалось начальными классами – то есть лет в двенадцать дети получали аттестат о законченном образовании, что считалось нормальным завершением учебного процесса. Далее государство поощряло только ремесленное обучение, что же до средней и высшей школы, то этот этап стал сугубо частным. Все эти реформы были направлены на то, чтобы “вернуть почетное место и утраченное достоинство семье как основополагающей ячейке нашего общества”, – заявили новый президент и его премьер в весьма странном совместном выступлении, причем в голосе Бен Аббеса звучали даже какие-то мистические нотки, а Франсуа Байру, с блаженной улыбкой на устах,

фактически исполнял роль Ганса Колбаски из немецких народных комедий, повторяющего в шутовской и слегка гротесковой манере слова главного героя. Мусульманским школам, понятное дело, опасаться было нечего, когда дело касалось образования, щедрость нефтяных держав не знала границ. Куда удивительнее было то, что некоторые католические и еврейские учебные заведения тоже вроде бы вышли сухими из воды, обратившись за помощью к руководителям предприятий; во всяком случае, они объявили, что собрали необходимые средства и новый учебный год начнется вовремя.

Внезапный развал бинарной системы противостояния правоцентристов и левоцентристов, с давних пор определявшей политическую жизнь Франции, поначалу поверг средства массовой информации в ступор, граничащий с афазией. Больно было смотреть, как несчастный Кристоф Барбье в скорбно приспущенном шарфе, слоняется с жалким видом из одной телестудии в другую, понятия не имея, как комментировать исторический переворот, который он не сумел предугадать, как, впрочем, и никто другой. Тем не менее с течением времени понемногу сформировались очаги сопротивления. Для начала в среде левых антиклерикалов. Под влиянием таких неожиданных персонажей, как Жан-Люк Меланшон и Мишель Онфре, были организованы протестные акции; Левый фронт^[16] никуда не делся, во всяком случае, на бумаге он еще существовал, и стало ясно, что Мохаммед Бен Аббес получит к 2027 году вполне достойного соперника – не считая, само собой, кандидатки от Национального фронта. Зато подали голос некоторые другие движения, вроде Студенческого союза салафитов: осуждая неуклонно растущее число аморальных поступков, они потребовали применения шариата на практике. Так возрождались некие элементы политической дискуссии. Она обещала стать дискуссией нового типа, резко отличающейся от полемики, принятой во Франции в последние десятилетия; ее скорее можно было сравнить с той, что утвердилась в большей части арабских стран; и все-таки это было что-то вроде дискуссии. А наличие политической дискуссии, пусть даже мнимой, необходимо для гармоничного функционирования средств массовой информации, а возможно, и для поддержки в народе хотя бы формального чувства демократии.

Но и помимо этой внешней суеты Франция менялась на глазах, и изменения эти были фундаментальными. Вскоре стало очевидно, что Мохаммед Бен Аббес, даже независимо от ислама, человек идейный; когда, отвечая на вопросы прессы, он заявил, что на него оказал влияние

дистрибутизм, все присутствующие буквально онемели от изумления. Вообще-то он уже это заявлял, и не раз, во время своей предвыборной кампании; просто журналисты, имея обыкновение пропускать мимо ушей непонятную им информацию, не заметили и не обсудили его заявление. Но на сей раз оно исходило от действующего президента, и им ничего не оставалось, как освежить свои знания. Таким образом, в течение следующих недель широкой публике стало известно, что дистрибутизм – это экономическая философия, зародившаяся в Англии в начале XX века под влиянием известных мыслителей Гилберта Кита Честертона и Хилэра Беллока. Они отмежевывались в равной степени от капитализма и от коммунизма, приравненного к государственному капитализму, и предлагали “третий путь”. Их основной идеей было объединить труд и капитал. Естественной формой предпринимательства должно стать семейное дело; когда же для определенных видов производства возникает необходимость объединиться в более крупные образования, следует сделать все возможное, чтобы работники, став акционерами своего предприятия, разделяли ответственность по управлению им.

Дистрибутизм, уточнил позднее Бен Аббес, отнюдь не противоречит учению ислама. Это уточнение было нелишним, поскольку Честертон и Беллок при жизни были известны, кроме всего прочего, как ярые приверженцы католической церкви. Довольно быстро стало ясно, что, несмотря на откровенный антикапитализм этой доктрины, Брюсселю, по сути дела, не стоило опасаться такого поворота событий. На практике основные меры, принятые новым правительством, заключались, с одной стороны, в полной отмене государственной поддержки крупного бизнеса, против которой уже давно выступал Брюссель, считая это посягательством на принцип свободной конкуренции, а с другой – в установлении благоприятного налогового режима для мелких и индивидуальных предпринимателей. Эти инициативы сразу получили всенародную поддержку; на протяжении последних десятилетий молодежью поголовно завладела мечта “начать собственное дело” или, по крайней мере, получить статус, позволяющий работать на себя. Между тем эти меры прекрасно вписались в новые принципы национальной экономики: вопреки дорогостоящим программам реструктуризации, крупные производства во Франции продолжали закрываться одно за другим, в то время как сельскому хозяйству и мелким предпринимателям удавалось выкручиваться и даже, как говорится, постепенно наращивать свою долю рынка.

Эти перемены подвели Францию к новой модели общества, но трансформация оставалась неявной до опубликования сенсационного эссе

молодого социолога Даниеля Да Сильвы, иронически озаглавленного “Сынок, когда-нибудь все это будет твоим”, с еще более откровенным подзаголовком “Вперед к семье по расчету!”. Во вступлении он ссылаясь на другое эссе, десятилетней давности, принадлежащее перу философа Паскаля Брюкнера, в котором автор констатировал полный крах брака по любви и выступал за возврат к браку по расчету. Да Сильва, в свою очередь, считал, что семейные узы, особенно отношения между отцом и сыном, ни в коей мере не могут быть основаны на любви, но исключительно на передаче знаний и имущества. Переход к наемному труду, по его утверждению, неизбежно должен был привести к распаду института семьи и полной атомизации общества, которое сможет восстановиться только при условии, что производство в нормальном режиме будет снова базироваться на принципах малого частного предприятия. Подобные антиромантические концепции и раньше пользовались скандальным успехом, просто до появления Да Сильвы им трудно было удержаться в центре общественного внимания, поскольку ведущие издания сплотились вокруг других идеалов, а именно личной свободы, таинства любви и прочих вещей в том же духе. Этот молодой социолог, искусный полемист, отличавшийся живым умом и, в сущности, безразличный к политической и религиозной идеологии, какой бы она ни была, сосредоточиваясь при любых обстоятельствах на той области, в которой он был специалистом – то есть на анализе развития семьи и его влияния на демографические перспективы западного общества, – первым сумел вырваться из своего окружения, неуклонно толкавшего его вправо, и заставить услышать себя в зарождавшейся (очень медленно, постепенно, без излишнего напора, в атмосфере молчаливого и вялого соглашательства, – но все-таки зарождавшейся) публичной дискуссии о проектах общественного устройства по версии Мохаммеда Бен Аббеса.

История моей семьи являлась наглядной иллюстрацией теории Да Сильвы; что касается любви, то я был от нее дальше, чем когда-либо. Чудо первого посещения Рашиды и Луисы больше не повторилось, и мой член вновь превратился в умелое, но бесстрастное орудие; я уходил от них во власти призрачной надежды, хоть и отдавал себе отчет, что, возможно, больше никогда их не увижу и что все живое, что еще теплилось во мне, все быстрее и быстрее утекает сквозь пальцы и я снова, как сказал бы Гюисманс, “становлюсь холоден и сух”.

Через некоторое время на Западную Европу внезапно надвинулся холодный фронт, растянувшись на тысячи километров; задержавшись на

несколько дней над Британскими островами и Северной Германией, полярные воздушные массы за одну ночь накрыли Францию, вызвав резкое и неожиданное для этого сезона понижение температуры.

Мое тело, перестав служить источником наслаждения, еще вполне могло послужить источником страданий, и вскоре я понял, что чуть ли не в десятый раз за последние три года стал жертвой дисгидроза, выразившегося в форме буллезного дерматита. Крошечные язвочки, высыпавшие на ступне и между пальцами ног, настойчиво стремились воссоединиться, дабы образовать сплошную гноящуюся рану. Побывав у дерматолога, я выяснил, что данное заболевание усугубляется ловко подсуетившимся грибком, оккупировавшим пораженную зону. Лечение эффективно, но занимает продолжительное время, так что не следует ждать значительных улучшений раньше чем через пару недель. Все последующие ночи я просыпался от боли; я чесался, наверное, часами, раздирая себя до крови, но облегчение наступало ненадолго. Удивительно, что пальцы ног, эти куцые, пухлые отростки, могут претерпевать такие чудовищные муки.

Как-то ночью, прервав привычный процесс чесания, я встал, сочащимися кровью ногами, и подошел к своему широченному окну. Было три часа, но, как всегда в Париже, темнота не была кромешной. Мне было видно штук десять многоэтажек и сотни зданий средних размеров. Всего там насчитывалось несколько тысяч квартир и столько же семей – парижских семей, состоящих, как правило, из одного-двух человек, теперь все чаще из одного. Подавляющая часть этих ячеек уже погасла. Уважительных причин покончить с собой у меня нашлось бы ничуть не больше, чем у многих. А если разобраться, так и гораздо меньше: моя жизнь была отмечена подлинными интеллектуальными свершениями, я вращался в определенных кругах, хоть и весьма узких, но все же пользующихся известностью и даже уважением. В материальном плане тоже грех было жаловаться: мне пожизненно гарантировали высокие доходы, в два раза выше среднего по стране, и вдобавок я не должен был никак их отрабатывать. Тем не менее я хорошо понимал, не испытывая при этом ни отчаяния, ни даже особой печали, что близок к самоубийству, просто ввиду постепенной деградации “совокупности функций, противостоящих смерти”, о которых говорит Биша. Элементарной воли к жизни мне уже явно не хватало, чтобы сопротивляться всем мукам и неурядицам, которыми усеян жизненный путь среднестатистического западного человека. Оказалось, что я не способен жить ради самого себя, а ради кого еще я мог бы жить? Человечество меня не интересовало, более

того, внушало мне отвращение, я вовсе не считал всех людей братьями, особенно если рассматривать достаточно узкий фрагмент человечества, состоящий, например, из моих соотечественников или бывших коллег. При этом, как ни досадно, я вынужден был признать этих людей себе подобными, и именно это сходство и побуждало меня избегать их; хорошо бы мне найти женщину, это было бы классическим и проверенным решением вопроса, женщина, разумеется, тоже человек, но все же она являет собой несколько иной тип человека и привносит в жизнь легкий аромат экзотики. Гюисманс мог бы сформулировать эту проблему практически в тех же выражениях, ситуация с тех пор не изменилась, разве что незаметно, по-тихоньку, ухудшилась – по мере постепенного выветривания и сглаживания различий, – да и то не слишком. В итоге он пошел другим путем, избрав экзотику более радикальную – *божественную*; но этот путь по-прежнему приводил меня в замешательство.

Прошло еще несколько месяцев; моя экзема наконец поддалась лечению, уступив место острому приступу геморроя. Погода становилась все холоднее, а мои перемещения в пространстве прагматичнее, они сводились теперь к еженедельному походу в “Жеан Казино” для пополнения запасов продовольствия и моющих средств и ежедневному походу к почтовому ящику, чтобы вынуть из него книги, заказанные на сайте *Amazon*.

Впрочем, я пережил рождественские праздники, не впад в чрезмерное отчаяние. В прошлом году я еще получал мейлы с новогодними поздравлениями – в частности, от Алисы и от других университетских коллег. В этом году мне впервые не написал никто.

Ночью 19 января у меня вдруг неожиданно и безудержно потекли слезы. Утром, когда над Кремлен-Бисетром занимался рассвет, я решил поехать в аббатство Лигюже, где Гюисманс стал облатом.

Отправление скоростного экспресса в Пуатье задерживалось на неопределенный срок – охранники Управления железных дорог патрулировали перроны, следя, чтобы никто из пассажиров не вздумал закурить, так что мое путешествие началось, прямо скажем, так себе, да и в поезде было не лучше. Со времени моей последней поездки багажное отделение стало еще меньше, практически сошло на нет, чемоданы и дорожные сумки громоздились в проходах, так что любая попытка пофланировать из вагона в вагон, что когда-то являлось главным развлечением во время путешествия по железной дороге, приводила к

конфликтным ситуациям, а то и вовсе была обречена на провал. В вагоне-ресторане “Сервэр”, куда я добирался двадцать пять минут, меня ждали новые разочарования: большей части блюд, указанных в меню, и без того лаконичном, не было в наличии. Управление железных дорог и компания “Сервэр” приносили извинения за причиненные неудобства; мне пришлось ограничиться салатом из киноа с базиликом и бутылкой итальянской минералки. В вокзальном киоске я, скорее от безысходности, купил “Либерасьон”. Когда мы уже подъезжали к Сан-Пьер-Ле-Кор, одна статья все-таки привлекла мое внимание: провозглашенный новым президентом дистрибутизм, судя по всему, оказался не таким безобидным, как сначала все подумали. Одним из основополагающих элементов политической теории, введенной в оборот Честертоном и Беллоком, был принцип субсидиарности. Согласно этому принципу, ни одна организация (социальная, экономическая или политическая) не должна брать на себя задачи, которые могут быть выполнены на более низком уровне. Папа Пий XI в своей энциклике *Quadragesimo Anno* дал определение этому принципу: “Как нельзя отнимать у частных лиц с целью передачи обществу то, что они способны реализовать по своей инициативе и собственными силами, так было бы величайшей несправедливостью и нарушением установленного порядка передавать более крупным и вышестоящим сообществам функции, которые могут быть выполнены более мелкими нижестоящими организациями”. В данном случае, как вдруг понял Бен Аббес, новой функцией, возложенной на слишком широкий круг лиц и организаций и в силу этого “нарушившей установленный порядок”, оказалась общественная солидарность. Что может быть прекраснее, растроганно произнес он в своей последней речи, чем солидарность, когда она проявляется в задушевной обстановке семейного круга! Эта “задушевная обстановка семейного круга” тогда еще была только программой; а если конкретно, то новый проект бюджета предусматривал в течение трех лет сократить на 85 % расходы на социальную сферу.

Самое поразительное, что гипнотическая сила, которую он изучал с самого начала, по-прежнему действовала на окружающих, и его проекты не встречали никакого серьезного сопротивления. Левые всегда ухитрялись проводить антиобщественные реформы, которые были бы с возмущением отвергнуты, предложи их правые; но мусульманская партия обскакала даже их. Из рубрики, посвященной международным новостям, я выяснил, кстати, что переговоры с Алжиром и Тунисом насчет их вступления в Евросоюз продвигаются быстро и успешно и до конца будущего года обе эти страны собираются вслед за Марокко стать членами Евросоюза;

предварительные консультации были проведены также с Ливаном и Египтом.

На вокзале Пуатье в моем путешествии наметились сдвиги к лучшему. В такси тут недостатка не было, и шофер ничуть не удивился, услышав, что я направляюсь в аббатство Лигюже. Это был корпулентный мужчина лет пятидесяти, с умным мягким взглядом; он с большой осторожностью управлял своим минивэном “тойота”. Что ни день со всего мира стекаются новые туристы, все хотят пожить при самом старом христианском монастыре Западной Европы, сообщил он; не далее как на той неделе он отвозил туда знаменитого американского актера, имени его он сейчас не припомнит, но он точно видел его в кино; произведя краткое дознание, я решил, что речь идет, возможно, о Бреде Питте, впрочем, не поручусь. Мое пребывание там обещало быть приятным, полагал он: место тихое, кормят вкусно. Когда он произнес эти слова, я вдруг понял, что он не только действительно так считает, но даже желает мне этого, поскольку принадлежит к достаточно редкому разряду людей, которые заранее радуются счастью ближнего, то есть он был, что называется, *хорошим человеком*.

В приемной монастыря, слева от входа, находилась лавка, где продавались товары монастырского производства, правда, в данный момент она была закрыта; за стойкой администратора справа тоже никого не оказалось. Из объявления на табличке следовало, что в случае отсутствия дежурного можно позвонить, хотя в часы служб лучше этого не делать без крайней необходимости. Ниже приводилось расписание богослужений, но не их длительность: в результате долгих вычислений, с учетом распорядка трапез, я пришел к заключению, что все это может уместиться в одни сутки только при условии, что продолжительность службы не превышает получаса. Наскоро совершив в уме еще несколько операций, я понял, что в данный момент мы находились в промежутке между секстой и ноной, следовательно, я имею полное право позвонить.

Через пару минут появился статный монах в черной рясе; увидев меня, он радушно заулыбался. Его лицо с высоким лбом было обрамлено мелкими завитками каштановых волос с редкой сединой и такой же каштановой бородкой от виска к виску, я бы дал ему лет пятьдесят, не больше.

– Я брат Жоэль, это я ответил на ваш мейл, – сказал он, решительно взяв мою сумку. – Пойдемте, я отведу вас в вашу комнату.

Он держался очень прямо и без видимых усилий нес мою сумку, хотя она была довольно тяжелая, – одним словом, был в прекрасной физической форме.

– Мы очень рады снова вас видеть, – продолжал он, – ведь лет двадцать прошло, да? – Видимо, я посмотрел на него с полнейшим недоумением, потому что он уточнил: – Вы же гостили у нас лет двадцать тому назад, да? Вы тогда писали работу о Гюисмансе?

Да-то оно да, но я поразился, что он меня вспомнил, мне его лицо ничего не говорило.

– Вы так называемый брат-гостиничник, если не ошибаюсь?

– Нет, что вы, но я был им тогда. На эту должность обычно назначают молодых монахов, ну, в смысле новичков в монашеской жизни. В обязанности гостиничников входят разговоры с постояльцами, поскольку они еще сохраняют контакт с внешним миром. Это своего рода шлюз, промежуточная ступень для монаха, перед тем как погрузиться в безмолвие. Что касается меня, то я пробыл гостиничником чуть больше года.

Мы шли вдоль довольно красивого строения эпохи Возрождения, стоявшего в центре парка; ослепительное зимнее солнце сверкало на аллеях, усыпанных опавшими листьями. Чуть поодаль, почти вровень с внутренней галереей, виднелась позднеготическая церковь.

– Это старая монастырская церковь, там бывал Гюисманс... – сказал брат Жоэль. – Община была распущена, как то и предполагали законы Комба, и, когда нам удалось вновь воссоединиться, мы уже не смогли вернуть ее себе, в отличие от прочих зданий. Пришлось выстроить новую церковь на территории монастыря.

Мы остановились перед небольшой двухэтажной постройкой, тоже ренессансной.

– Это наша гостиница, тут вы и будете жить, – продолжал он.

В ту же минуту на другом конце аллеи показался бегущий монах, приземистый, лет сорока, тоже в черной рясе. Этот живчик, с лысиной, которая буквально сверкала на солнце, производил впечатление человека на редкость жизнерадостного и осведомленного; что-то в нем было от министра финансов или, бери выше, министра бюджета – в общем, кто угодно без колебаний доверил бы ему самую ответственную должность.

– А вот и брат Пьер, наш новый гостиничник, с ним вы обсудите все практические стороны вашей жизни здесь... – объявил брат Жоэль. – Я просто пришел вас поприветствовать. – Тут он низко поклонился, пожал мне руку и удалился в направлении монастыря.

– Вы приехали экспрессом? – поинтересовался брат Пьер, и я ответил утвердительно. – Да, на экспрессе это рукой подать, – продолжал он, явно желая завязать разговор на общие темы. Потом, взяв мою сумку, он проводил меня в квадратную комнату три на три метра, обклеенную светло-серыми обоями в мелкий рубчик, выдавшее виды ковровое покрытие тоже было условного серого цвета; единственным украшением здесь служило большое распятие темного дерева, висевшее над узкой одноместной кроватью. Я сразу заметил, что на умывальнике нет смесителя; заметил я и наличие детектора дыма на потолке. Я заверил брата Пьера, что комната отлично мне подойдет, хотя уже понял, что это, увы, не так. Когда в романе “На пути” Гюисманс предается раздумьям, порой бесконечным, спрашивая себя, выдержит ли он монастырскую жизнь, одним из его аргументов “против” является более чем вероятный запрет на курение в монастырских помещениях. Вот за такие фразы я всегда его и любил; и еще за другие пассажи, вроде того, где он заявляет, что одна из редких чистых радостей в этом мире состоит в том, чтобы улечься в одиночестве в постель со стопкой хороших книг и пачкой табаку под рукой. Оно конечно, только в его время не существовало детекторов дыма.

На шатком деревянном столе лежали Библия, тоненькая книжица, принадлежащая перу донна Жан-Пьера Лонжа, о смысле уединения в монастыре (с уточнением “Не выносить”) и листок с информацией, большую часть которого занимало расписание богослужений и трапез. Мельком заглянув в него, я выяснил, что вот-вот начнется молитва девятого часа, но решил на первый раз пропустить ее: в ней не содержалось никакой головокружительной символики, службы третьего, шестого и девятого часа призывали к тому, чтобы “весь день хранить себя в предстоянии перед Богом”. К семи ежедневным службам добавлялась еще обедня; по сравнению с эпохой Гюисманса в этом смысле тут ничего не изменилось, единственным послаблением стал перенос полунощной с двух часов ночи на десять вечера. Когда я был здесь в первый раз, мне очень понравилась эта служба, состоявшая из длинных медитативных псалмов, равно удаленная от повечерия (прощания с ушедшим днем) и от утрени, приветствующей зарю нового дня; это богослужение чистейшего ожидания, последней надежды, когда для надежды уже нет оснований... Конечно, в разгар зимы, в те годы, когда церковь даже не обогревалась, вряд ли эта служба давалась легко.

Больше всего меня поразило, что брат Жоэль меня узнал – двадцать с лишним лет спустя. Наверное, с тех пор как он перестал быть гостиничником, в его жизни произошло не так много событий. Он работал

в монастырских мастерских, присутствовал на ежедневных богослужениях. Жизнь его текла мирно и, вероятно, счастливо; то есть была полной противоположностью моей.

Позже, в ожидании вечерни, сразу после которой подавали ужин, я долго гулял по парку, выкурив бесчисленное количество сигарет. Солнце светило все ярче, расцвечивая иней, зажигая светлые отблески на каменных стенах монастыря и алые на ковре из листьев. Смысл моего пребывания здесь уже не казался мне таким очевидным; иногда я прозревал его, хоть и смутно, но тут же безвозвратно терял снова, и Гюисманс был уже тут явно ни при чем.

В течение следующих двух дней я постепенно привыкал к однообразной череде служб, но так и не смог по-настоящему проникнуться ими. Обедня была единственным узнаваемым компонентом, единственной точкой соприкосновения с отправлением культа, как это понимают во внешнем мире. Что до всего остального, то это была просто мелодекламация и пение псалмов, соответствующих определенному часу дня, иногда прерываемых непродолжительным чтением священных текстов, – эти чтения сопровождали и трапезу, проходившую в полном молчании. Современная церковь, построенная на территории монастыря, отличалась неброским уродством, слегка напоминая своей архитектурой торговый центр “Супер-Пасси” на улице Аннонсиасьон, а ее витражи, не более чем абстрактные цветные пятна, не заслуживали никакого внимания; но в моих глазах все это было не так важно: я не был эстетом, во всяком случае, в гораздо меньшей степени, чем Гюисманс, и стандартное уродство современного религиозного искусства не вызывало у меня особых эмоций. В ледяном воздухе раздавались голоса монахов, чистые, смиренные и благодушные; в них звучала нежность, надежда и упование. Господь наш Иисус Христос должен вернуться, он вернется уже скоро, и жар его присутствия заранее переполнял радостью их души, что, в сущности, и было единственной темой песнопений, проникнутых естественным и светлым ожиданием. Старая сука Ницше был прав, угадав своим тонким чутьем, что христианство, по сути, религия женская.

Мне бы, наверное, удалось к этому приноровиться, но когда я вернулся в свою келью, все пошло наперекосяк; детектор дыма злобно тарачился на меня красным глазом. Я то и дело подходил к окну покурить и убеждался, что и тут тоже со времен Гюисманса стало только хуже: в конце парка прошла скоростная железная дорога, и прямо напротив, всего в двухстах метрах, проносились экспрессы, нарушая грохотом колес задумчивую

тишину этих мест. Холод становился все ощутимее, и всякий раз, постояв у окна, я вынужден был надолго прижиматься к батарее. Постепенно я начал злиться, и опус дона Жан-Пьера Лонжа, наверняка прекрасного монаха, исполненного благих намерений и любви, все больше раздражал меня. “Жизнь должна быть насыщена взаимной любовью, и в горе и в радости, – писал брат Жан-Пьер, – поэтому посвети эти несколько дней работе над своим умением любить и быть любимым на словах и на деле”. Ты в полете, мудила, я тут один, в ярости съязвил я. “Ты тут для того, чтобы сделать привал и совершить путешествие вглубь себя, к животворящему истоку, где проявляется вся сила желания”, – продолжал он. С моим желанием вопрос закрыт, бушевал я. Я желаю покурить, ау, мудила, видишь, до чего я дошел, вот он, мой животворящий исток. Возможно, в отличие от Гюисманса, я не чувствовал, что “мое сердце задубело и закоптилось в разгуле”; правда, легкие у меня задубели и закоптились от табака, тут не поспоришь.

“Внимай, вкушай и пей, плачь и пой, стучись в ворота любви!” – восклицал в экстазе Лонжа. Наутро третьего дня я понял, что пора ехать, мое пребывание здесь ничего не даст. Я признался брату Пьеру, что неожиданно возникшие дела по работе, целая куча важнейших дел, вынуждают меня прервать свой духовный путь. Я не сомневался, что брат Пьер, вылитый Пьер Московией^[17], поверит мне; может, он и был раньше кем-то вроде Пьера Московией в своей последней по счету прошлой жизни, а уж пьеры московиси всегда найдут общий язык, так что все пройдет тихомирно. И все же, прощаясь со мной в приемной монастыря, он выразил пожелание, чтобы путь, который я проделал вместе с ними, стал путем света. Я сказал: а то, без вопросов, все было супер, но понял в эту минуту, что разочаровал его.

Ночью циклон, пришедший с Атлантики, зацепил юго-запад Франции, и температура воздуха поднялась на десять градусов; пейзажи вокруг Пуатье окутывал густой туман. Я заказал такси с большим запасом, но мне пришлось еще как-то скоротать почти час; я провел его в баре “Дружба”, метрах в пятидесяти от монастыря, машинально осушая одну за другой кружки “Леффе” и “Хугардена”. Официантка была худой и размалеванной, посетители говорили слишком громко, в основном о недвижимости и отпуске. Я снова оказался среди себе подобных, что не доставило мне никакого удовольствия.

Часть пятая

Весь ислам – это политика.

Аятолла Хомейни

На вокзале в Пуатье мне пришлось поменять билет. На ближайший экспресс в Париж мест почти не осталось, и я доплатил, чтобы ехать в “Про Премьер”. Если верить Управлению железных дорог, это привилегированное пространство, где пассажирам гарантируется бесперебойный вай-фай, широкие столики, на которых можно разложить рабочие документы, а также розетки, чтобы, не приведи господь, не вырубился ноутбук; в остальном оно ничем не отличалось от обычного первого класса.

Мне удалось купить отдельное место, без соседей напротив и лицом по движению поезда. Через проход от меня арабский бизнесмен лет пятидесяти в длинной белой джедабе и столь же белой куфии, ехавший, видимо, из Бордо, разложил рядом с компьютером несколько папок, воспользовавшись положенным ему столиком. Напротив него сидели две бойкие и смешливые девицы в длинных платьях и разноцветных платках, едва вышедшие из подросткового возраста, – видимо, его жены. Они явно опустошили прилавки со сладостями и прессой в вокзальном киоске. Одна из них увлеченно читала *Picsou Magazine*, вторая – *Oops*. Бизнесмен, наоборот, производил впечатление человека, столкнувшегося с серьезными неприятностями; открыв свой почтовый ящик, он загрузил вложенный файл, содержащий множество таблиц в *Excels* изучение этих документов, как мне показалось, только усилило его тревогу. Он набрал номер на мобильном телефоне и пустился в долгий разговор тихим голосом, я не понимал, о чем шла речь, и попробовал без особого успеха погрузиться в чтение “Фигаро”, в которой новый строй, установившийся в стране, рассматривался в плане недвижимости и индустрии люкса. С этой точки зрения ситуация была весьма многообещающей: понимая, что отныне они имеют дело с дружественным государством, выходцы из нефтяных держав Персидского залива все чаще проявляли желание приобрести апартаменты в Париже или на Лазурном берегу и взвинчивали цены, переплюнув китайцев и русских, короче, рынок был в отличной форме.

Громко хохоча, юные мусульманки пытались найти “семь отличий” в *Picsou Magazine*. Подняв глаза от своих таблиц, бизнесмен улыбнулся им со страдальческим упреком. Они улыбнулись ему в ответ, но играть не перестали, перейдя, правда, на возбужденный шепот. Он опять уставился на экран компьютера и завел новый телефонный разговор, такой же длинный и конфиденциальный, как и первый. При исламском порядке женщины – ну, самые хорошенькие и возбуждающие желание у богатого супруга, – имели возможность не взростеть. Едва выйдя из нежного возраста, они сами становились матерями, то есть снова погружались в мир детства. Их дети вырастали, они становились бабушками, так, собственно, и проходила жизнь. Им оставалось всего нескольких лет, в течение которых они могли покупать себе сексуальное белье, сменив детские игры на сексуальные, – что, по сути дела, мало чем отличалось одно от другого. Конечно, они теряли независимость, но *в жопу эту независимость*, ведь я сам, что уж тут говорить, запросто, и даже с огромным облегчением, отказался от всякой профессиональной и интеллектуальной ответственности и совершенно не завидовал бизнесмену, сидевшему через проход от меня в вагоне “Про Премьер” скоростного поезда, – его лицо буквально посерело от тревоги, да, дела его явно были хуже некуда, а наш поезд меж тем проехал вокзал Сен-Пьер-ле-Кор. Зато ему в утешение были даны две прелестных, изящных жены, отвлекавших его от изнурительных бизнесменских забот, – и кто знает, может быть, в Париже его поджидала еще парочка, если мне не изменяет память, по законам шарията разрешается иметь аж четырех жен. А вот у моего отца была лишь... моя матушка, эта невротическая сука. Я даже вздрогнул при этой мысли. Ну теперь она умерла, оба они умерли; я остался единственным живым, хоть и подуставшим за последнее время, свидетельством их любви.

В Париже тоже потеплело, но не так чтобы очень, моросил мелкий холодный дождь; на улице Тольбиак было полно машин, она даже показалась мне длиннее обычного, по-моему, мне еще ни разу не приходилось идти по такой длинной, мрачной, скучной и бесконечной улице. Ничего, кроме разного рода неприятностей в этом городе я не ждал. Однако, к моему изумлению, в почтовом ящике обнаружилось письмо – ну, скажем нечто, что не являлось ни рекламой, ни счетом, ни административным запросом. Я с отвращением оглядел свою гостиную и волей-неволей вынужден был сознаться себе, что мне не доставило ни малейшей радости возвращение домой, в эту квартиру, где никто никого не любит и которую никто не любит. Прежде чем открыть письмо, я налил себе большой стакан кальвадоса.

Писал мне Бастьен Лаку, который, по-видимому, – я тогда пропустил эту новость – несколько лет назад сменил Юга Прадье на посту главного редактора “Библиотеки Плеяды”^[18]. В первых строках он сообщал, что по необъяснимому упущению Гюисманс все еще не числится в каталоге авторов “Плеяды”, хотя, несомненно, входит в созвездие классиков французской литературы; тут я не мог с ним не согласиться. Далее он выражал уверенность, что если кому-то и можно поручить издание Гюисманса в “Плеяде”, то только мне, учитывая общепризнанное высочайшее качество моих работ.

От таких предложений не отказываются. То есть отказаться-то я, конечно, мог, но тем самым я бы окончательно поставил крест на каких бы то ни было интеллектуальных и социальных устремлениях, да и всяких устремлениях вообще. Готов ли я к этому, вот в чем вопрос. Чтобы обдумать это, мне необходим был еще один стакан кальвадоса. Подумав, я решил, что не вредно будет выйти за новой бутылкой.

Мне сразу удалось назначить встречу с Бастьеном Лаку на послезавтра. Его офис был точно таким, как я себе представлял, намеренно старомодным, и, чтобы добраться до него, мне пришлось подняться на третий этаж по крутой деревянной лестнице, с которой открывался вид на внутренний двор с запущенным садом. Сам Лаку оказался интеллектуалом весьма распространенного типа, в маленьких овальных очках без оправы, на редкость жовиальным и довольным собой, миром вообще и своим положением в этом мире в частности.

Я успел немного подготовиться к разговору и предложил разделить наследие Гюисманса на два тома, собрав в первом его произведения от “Вазы с пряностями” до “Отставки господина Буграна” (я ввернул, что наиболее вероятная дата его написания – 1888 год) и посвятив второй циклу романов о Дюртале, от “Бездны” до “Облата”, прибавив к ним, естественно, “Толпы Лурда”. Такое простое распределение, логичное и очевидное, не должно было вызывать затруднений. Что касается комментариев, то с этим, как всегда, сложнее. Некоторые псевдонаучные издания дают примечания ко всем упомянутым у Гюисманса бесчисленным писателям, музыкантам и художникам. Мне это представлялось совершенно бессмысленным, даже если отправить все примечания в конец. Они только перегружают том, к тому же как определить, не слишком ли много или не слишком ли мало сказано о Лактанции, святой Анджеле из Фолиньо или Грюневальде; кому интересно, может навести справки самостоятельно, вот и все. Что же касается отношений Гюисманса с

писателями-современниками – Золя, Мопассаном, Барбе д’Оревилли, Реми де Гурмоном или Леоном Блуа, – то об этом, на мой взгляд, следует рассказать в предисловии. И в данном вопросе тоже Лаку немедленно со мной согласился.

Зато непонятные слова и неологизмы, использованные Гюисмансом, как раз предполагают наличие справочного аппарата – но я, пожалуй, предпочел бы постраничные сноски, чтобы не слишком замедлять процесс чтения. Он восторженно закивал в ответ.

– В вашем “Головокружении от неологизмов” вы уже провели огромную работу в этом направлении! – воскликнул он радостно.

Протестуя подняв правую руку, я заверил его, что, напротив, в книге, которую он так любезно упомянул, я лишь вскользь затронул этот вопрос, разобрав всего-навсего четвертую часть текстового корпуса писателя. Он, в свою очередь, примиряюще поднял левую руку: само собой, у него и в мыслях не было недооценивать тот колоссальный труд, которого потребует от меня подготовка нового издания; впрочем, сроки сдачи пока не определены, так что в этом плане я могу себя чувствовать абсолютно свободно.

– Да, вы работаете для вечности...

– Конечно, это звучит очень претенциозно, но при всем при том нельзя не признать, что наши устремления, во всяком случае, именно таковы.

После этого заявления, сделанного с точно отмеренной долей елейности, наступила небольшая пауза; все шло, по-моему, хорошо, мы сливались в экстазе на почве общих ценностей, и наша “Плеяда” обещала быть в шоколаде.

– Робер Редигер крайне сожалеет о вашем увольнении из Сорбонны после... смены режима, если так можно выразиться, – продолжал он уже более печальным тоном. – Я это знаю, потому что мы с ним друзья. Близкие друзья, – добавил он с каким-то даже вызовом. – Некоторые преподаватели, весьма заслуженные кстати, остались. Другие, столь же заслуженные, ушли. Каждое из этих увольнений, ваше в том числе, стало для него глубоко личной драмой, – заключил он резко, как если бы вдруг долг дружбы и учтивость вступили в его душе в трудную борьбу.

Мне совершенно нечего было ему на это ответить, и он в конце концов это понял, промолчав почти минуту.

– В общем, я счастлив, что вы согласились участвовать в моем проекте! – воскликнул он, потирая руки, как будто мы с ним сейчас мило подшутили над ученым миром. – Понимаете ли, мне казалось совершенно ненормальным и достойным сожаления, что такой человек, как вы...

человек вашего уровня, я хочу сказать, вдруг очутился за бортом – ни лекций, ни публикаций, ничего! – С этими словами, осознав, похоже, излишнюю драматичность своих интонаций, он медленно поднялся со стула; я тоже встал, но попроворнее.

Видимо, в честь заключенного между нами пакта Лаку проводил меня не только до двери кабинета, но даже спустился с третьего этажа вниз (“осторожно, ступеньки тут крутоваты!”), потом проследовал за мной по коридорам (“Прямо настоящий лабиринт”, – хмыкнул он); ну, не сказал бы, там было всего два коридора, пересекавшихся под прямым углом, так что мы сразу попали в нижний холл и он довел меня до выхода из издательства “Галлимар” на улицу Гастона Галлимара. Воздух стал холоднее и суше, и тут я понял, что мы даже не коснулись вопроса о вознаграждении. Словно прочитав мои мысли, он протянул руку к моему плечу, не дотрагиваясь до него при этом, и шепнул:

– В ближайшие же дни я пошлю вам предложения по контракту. – И добавил, не переводя дыхания: – А в эту субботу состоится приемчик в честь открытия Сорбонны. Я прослежу, чтобы вам отправили приглашение по почте. Вот увидите, Робер будет счастлив, если вы сможете выкроить время.

На сей раз он таки похлопал меня по плечу, а затем пожал руку. Последние фразы он произнес приподнятым тоном, словно эта мысль чисто случайно пришла ему в голову, но у меня создалось впечатление, что именно ради этих последних фраз и было сказано все предыдущее.

Прием начинался в шесть часов вечера, на последнем этаже Института Арабского мира, закрытого по такому случаю для посторонних. Я немного волновался, показывая на входе свое приглашение: кого, интересно, я тут увижу? Наверняка саудовцев, поскольку в приглашении сообщалось о присутствии саудовского принца, чье имя было мне хорошо известно, он был основным инвестором обновленного университета. Возможно, и своих бывших коллег, точнее тех, кто согласился работать в новой структуре, – но, за исключением Стива, я таких не знал, а Стив был последним человеком, с которым мне бы хотелось сейчас повстречаться.

Все-таки одного из бывших коллег я заметил, стоило мне пройтись по большому, освещенному люстрами залу, – ну, я его плохо знал лично, мы говорили с ним раза два, не больше, но Бертран де Жиньяк был всемирно известным специалистом по средневековой литературе, регулярно читал лекции в Колумбийском университете и в Йеле, а также являлся автором

основополагающей монографии про “Песнь о Роланде”. Что касается кадровой политики нового университета, то он, пожалуй, был единственным козырем в колоде Редигера. Но я толком не знал, о чем с ним говорить, область средневековой литературы была покрыта для меня мраком неизвестности; поэтому я послушно взял несколько мезе – они оказались восхитительны, как холодные, так и горячие, да и поданное к ним ливанское красное вино тоже было выше всяких похвал.

При этом я бы не сказал, что прием так уж удался. Гости, сбившись в группки от трех до шести человек – арабы и французы вперемешку, – ходили по богато украшенному залу, изредка обмениваясь репликами. Лившаяся из динамиков арабо-андалузская музыка, назойливая и зловещая, не слишком способствовала улучшению атмосферы, но проблема была не в этом, и только прослонявшись в толпе три четверти часа, съев с десятка мезе и выпив четыре бокала красного вина, я сообразил, что тут не так: вокруг были одни мужчины. Женщин не пригласили, а поддерживать на пристойном уровне непринужденное общение в отсутствие женщин – тем более без подспорья в виде футбола, неуместного все же в этом как-никак университетском контексте, – было сложной задачей.

Но тут в углу зала я заметил Лаку, он стоял в центре плотно сбившейся группки, состоявшей из десятка арабов и еще двоих французов. Они оживленно болтали, молчал только человек лет пятидесяти с одутловатым суровым лицом и носом с выдающейся горбинкой. Одет он был просто – в длинную белую джелабу, но я тут же понял, что он самый главный в этой группе, а может быть, даже принц собственной персоной. Все по очереди что-то пылко говорили ему, по-моему оправдываясь, он один безмолвствовал, изредка кивая, но лицо его оставалось непроницаемым, у них явно возникла какая-то проблема, что, впрочем, меня не касалось, поэтому я повернул назад, взяв по дороге самсу с сыром и пятый бокал вина.

К принцу подошел худой и очень высокий пожилой человек с длинной редкой бородой, и тот отступил в сторону, чтобы поговорить с ним наедине. Группка, лишившись центра притяжения, тут же распалась. Прогуливаясь по залу с одним из французов, Лаку наконец меня заметил и неуверенно помахал мне. Он явно был не в своей тарелке и представил нас друг другу еле слышным голосом, я даже не разобрал имени его спутника с аккуратно зачесанными назад и, по-моему, напомаженными волосами, на нем был потрясающий темно-синий костюм-тройка с еле заметными вертикальными белыми полосками, чуть блестящая ткань казалась необыкновенно мягкой, шелк наверное, мне захотелось пощупать ее, но в последнюю минуту я все-

таки сдержался.

Проблема состояла в том, что принц жутко оскорбился, так как министр образования не пришел на прием, хотя им официально подтвердили его присутствие. Министр не только не пришел сам, но даже не прислал своего представителя, вообще никого, “даже замминистра по делам университетов”, – заключил он в смятении.

– В результате последней реорганизации должность замминистра по делам университетов была упразднена, я же вам говорил! – раздраженно оборвал его спутник.

Он считал, что ситуация еще тревожнее, чем думает Лаку: министр как раз собирался прийти, он подтвердил ему свое намерение еще накануне, но тут вмешался лично президент Бен Аббес и отговорил его, и целью его, совершенно очевидно, было унижить саудовцев. Все это вполне вписывалось в ряд недавних гораздо более фундаментальных преобразований, как, например, активизация государственной программы по развитию ядерной энергетики и введение субсидий на электромобили: правительство стремилось в кратчайшие сроки приобрести полную энергетическую независимость от нефти Саудовской Аравии; конечно, Исламский университет Сорбонна это не устраивало, но все-таки прежде всего волноваться должен был его ректор, и в этот момент я увидел, что Лаку повернулся к человеку лет пятидесяти, который, войдя в зал, сразу поспешил в нашу сторону – А вот и Робер! – воскликнул он с невероятным облегчением, словно приветствовал Мессию.

Тем не менее он потрудился меня представить, на сей раз более внятно, а потом уже ввел его в курс дела. Редигер энергично пожал мне руку, практически расплющив ее в своих мощных лапах, и заверил меня, что давно ждал этого момента и счастлив со мной познакомиться. Внешне он был мужчина хоть куда; очень высокий, метр девяносто, не меньше, крепкого телосложения, с широкой грудью и развитой мускулатурой, он скорее был похож на нападающего в регби, чем на университетского профессора. Загорелое лицо, испещренное глубокими морщинами, оттеняли совершенно седые, но очень густые волосы, подстриженные ежиком. Как ни странно, он пришел в авиаторской черной кожаной куртке.

Лаку вкратце изложил ему суть дела; Редигер кивнул, проворчав, что он предчувствовал такого рода неразбериху, потом, задумавшись на несколько секунд, заключил:

– Я позвоню Делломе. Он скажет, что делать.

Он вынул из кармана куртки миниатюрный, почти дамский мобильник в жестком чехле, утонувший в его ручище, и отошел от нас, чтобы набрать

номер. Лаку и его спутник застыли в тревожном ожидании, не спуская с него глаз и не решаясь подойти, как же они мне все надоели со своими заморочками, а главное, у них был вид законченных кретинов, конечно, нельзя гладить нефтедоллары против шерсти, если так можно выразиться, но, боже мой, они могли нанять какого-нибудь статиста, что ли, и выдать его если не за министра, которого все видели по телевизору, то хотя бы за начальника его канцелярии, да хоть этот фигляр в тройке, если очень надо, вполне сошел бы за начальника канцелярии, саудовцы бы не въехали, вот уж много шума из ничего, впрочем, это их проблемы, я взял последний бокал вина и вышел на террасу, оттуда открывался потрясающий вид на освещенный Нотр-Дам и Сену, стало еще теплее, дождь прекратился, и лунные отблески играли на воде.

Наверное, я долго так простоял, созерцая окрестности, и когда вернулся в зал, толпа уже поредела, тут по-прежнему были одни мужчины, но я не заметил ни Лаку, ни костюма-тройки. Ну ладно, я, в общем, не зря сюда пришел, подумал я, подбирая рекламный листок ливанского кафе, у них чудесные мезе, и кроме того, есть доставка на дом, так что я хоть отдохну от индийской кухни. В ту минуту, когда я забирал одежду в гардеробе, ко мне подошел Редигер.

– Уходите? – Он огорченно развел руками.

Я спросил, удалось ли ему разрешить протокольный вопрос.

– Да, в конце концов я нашел выход. Министр сегодня не появится, но он лично позвонил принцу и пригласил его прийти завтра утром на рабочий завтрак в министерство. Но вообще-то Шрамек, боюсь, прав: Бен Аббес сознательно пошел на это унижение, он все увереннее возобновляет отношения с катарцами, своими друзьями юности. Одним словом, это еще цветочки. Ну не знаю... – Словно отгоняя надоевшую тему, он махнул рукой и положил ее мне на плечо. – Но я очень огорчен, что это пустячное недоразумение помешало нам с вами спокойно поговорить. Приходите как-нибудь ко мне на чай, у нас будет больше времени. – Внезапно он улыбнулся; улыбка у этого здорового мужика была обаятельная, искренняя, почти детская, что, конечно, не могло не подкупить собеседника; я думаю, он это знал и пользовался этим. Редигер протянул мне визитную карточку. – Давайте в эту среду, часов в пять? Сможете?

Я ответил, что смогу.

Спустившись в метро, я изучил его визитку; она была сделана со вкусом и элегантно, если я что-то в этом смыслил. У Редигера имелся

личный номер телефона, два рабочих, два номера факса (личный и рабочий), три электронных адреса с непонятным доменом, два мобильных номера (французский и английский) и аккаунт в скайпе; этот человек сделал все, чтобы с ним можно было связаться. Нет, что и говорить, стоило мне пообщаться с Лаку, как я сразу начал возвращаться в высших сферах. Это внушало даже некоторое беспокойство.

Был у него и почтовый адрес, улица Арен, дом 5, и пока что только эта информация и могла мне пригодиться. Насколько я помнил, это была чудная улочка, выходившая на Арены Лютеции, одно из самых симпатичных мест в Париже. Тут находились мясные и сырные лавки, рекомендованные Жан-Люком Петирено и Жилем Пудловски, – уж не говоря о бутиках с итальянскими продуктами. Все это было весьма заманчиво.

На станции “Площадь Монж” я ошибся, решив выйти к Аренам Лютеции. Хотя, судя по плану, все было правильно, ведь я сразу попал на улицу Арен; но я забыл, что тут нет лифта, а станция находится на пятидесятиметровой глубине, так что я был совершенно изнурен и еле дышал, выбравшись наружу из этого странного выхода, встроенного прямо в ограду сквера; его толстые колонны, стилизованные буквы и вообще весь этот нелепый нововавилонский образ никакого отношения не имел к Парижу, как, впрочем, и к любому другому месту в Европе.

Дойдя до дома номер 5 по улице Арен, я понял, что Редигер не просто живет на чудной улице в пятом округе, он к тому же живет в *особняке* на чудной улице в пятом округе, и более того, он живет в *историческом особняке*. Дом номер 5 оказался не чем иным, как тем самым невероятным неоготическим строением с квадратной башенкой, претендовавшей на звание углового донжона, где Жан Полай жил с 1940 года до самой своей смерти в 1968-м. Лично я всегда терпеть не мог Жана Полана, ни его самого, этакого *серого кардинала*, ни его произведения, но все же нельзя не признать, что он был одним из самых могущественных французских издателей послевоенного времени, а также что он жил в очень красивом доме. Мое восхищение объемом финансовых средств, выделенных Саудовской Аравией новому университету, росло не по дням, а по часам.

Я позвонил в дверь, и мне открыл мажордом в кремовом костюме, чем-то напоминавшем, благодаря пиджаку со стоячим воротником, привычное облачение бывшего диктатора Каддафи. Я представился, он чуть поклонился – меня тут и правда ждали. Он предложил мне посидеть в маленькой гостиной, куда свет проникал сквозь витражи, пока он пойдет известить о моем приходе профессора Редигера.

Не прошло и двух-трех минут, как дверь слева открылась, и в комнату вошла девочка лет пятнадцати в джинсах с низкой талией и майке с надписью *Hello Kitty*; длинные черные волосы свободно падали ей на плечи. Заметив меня, она вскрикнула и выбежала, неловко попытавшись закрыть лицо руками. В то же мгновение на лестничной площадке этажом выше появился Редигер и стал спускаться ко мне. Он был свидетелем этой сцены и, бессильно пожав плечами, протянул мне руку.

– Это Айша, моя новая жена, она смутилась, потому что вы увидели ее без платка.

– Приношу свои извинения.

– Не извиняйтесь, это ее оплошность; прежде чем выходить в переднюю, ей надо было узнать, нет ли у нас гостей. Ну, она еще тут не освоилась, скоро привыкнет.

– Да, на вид она совсем молоденькая.

– Ей только что исполнилось пятнадцать.

Я последовал за Редигером на второй этаж, в просторный библиотечный зал с высокими стенами, потолки тут были, наверное, под пять метров. Одну стену полностью скрывали книжные полки, и я сразу обратил внимание на невероятное количество старых изданий, в основном XIX века. По двум прочным металлическим выдвижным лестницам можно было добраться до самых верхних полок. Противоположную стену сверху донизу занимала решетка темного дерева, к ней были подвешены горшки с растениями. Тут был и плющ, и папоротник, а дикий виноград, спускавшийся волнами с потолка до самого пола, обвивал рамки с выписанными арабской вязью сурами из Корана или фотографиями большого формата на матовой бумаге, изображавшими скопление галактик, сверхновые звезды и спиральные туманности. В углу стоял наискосок большой письменный стол эпохи Директории. Редигер повел меня в другой угол, где вокруг низкого столика с медным подносом были расставлены кресла, обитые потертой тканью в красную и зеленую полоску.

– У меня, в общем-то, есть чай, если вы предпочитаете, – сказал он, предложив мне сесть. – А также крепкие напитки, виски, портвейн, ну что хотите. И прекрасное “Мерсо”.

– Давайте “Мерсо”, – ответил я, хотя он меня заинтриговал. Мне казалось, что ислам, судя по тому, что мне было о нем известно, осуждает употребление алкоголя, хотя как раз эту религию я знал плохо.

Он вышел, видимо, чтобы попросить принести нам вино. Мое кресло

стояло напротив старинного окна со свинцовым переплетом, выходявшего на арены. Из него открывался потрясающий вид, я впервые, по-моему, видел разом все ступени амфитеатра. Через несколько минут, однако, я встал и подошел к книжным полкам; его библиотека тоже производила сильное впечатление. Две нижние полки были заняты переплетенными фотокопиями формата 21 x 29,7. Оказалось, что это диссертации, защищенные в разных европейских университетах; я стал изучать названия, как вдруг наткнулся на диссертацию по философии, защищенную Робером Редигером в Католическом университете Лувен-ла-Нев – она была озаглавлена “Генон читает Ницше”. Я достал ее с полки в тот момент, когда Редигер вернулся в комнату; я вздрогнул, словно он застиг меня на месте преступления, и сделал вид, что ставлю ее на место. Он подошел, улыбаясь.

– Не беспокойтесь, тут нет никаких секретов. И потом, интерес к библиотеке в вашем случае – просто профессиональный долг...

Подойдя еще ближе, он увидел титульный лист.

– А, вам попала моя диссертация. – Он покачал головой. – Да, я защитился, но диссертация моя была далека от совершенства. Гораздо слабее вашей. Я, скажем так, по-своему интерпретировал его тексты. Если разобраться, Генон не так уж и сильно подвергся влиянию Ницше; он столь же решительно отвергал современный мир, но истоки этого были совершенно иными. И разумеется, сегодня я бы написал ее иначе. – У меня и ваша тут есть... – продолжал он, вынимая с полки другой фолиант. – Как вы знаете, в архивах университета хранится по пять копий. А учитывая, сколько научных работников заглядывают в них в течение года, я подумал, что, если я присвою один экземплярчик, беды не будет.

Его слова с трудом доходили до меня, я был на грани обморока. Прошло почти двадцать лет с тех пор, как я держал в руках своего “Жориса-Карла Гюисманса”; этот том оказался невероятной, почти позорной толщины, в нем было, внезапно вспомнил я, семьсот восемьдесят восемь страниц.

Я посвятил ему как-никак семь лет своей жизни. Не выпуская из рук моей диссертации, он вернулся к креслам.

– Это на самом деле выдающаяся работа... – сказал он. – Она напомнила мне тексты молодого Ницше, времен “Рождения трагедии”.

– Вы преувеличиваете...

– Нет, не думаю. В конце концов, “Рождение трагедии” тоже было своего рода диссертацией, и для обеих работ характерна великолепная избыточность, они изобилуют идеями, выплеснутыми на страницы без какой-либо предварительной подготовки, что делает текст, признаться,

почти нечитабельным, и, к слову сказать, я поражен, что вам хватило дыхания почти на восемьсот страниц. Начиная с “Несвоевременных размышлений” Ницше присмирел, поняв, что нельзя нагружать читателя чрезмерным количеством идей, что необходимо пойти на компромисс и дать ему передышку. Вы сами в “Головокружении от неологизмов” пошли по тому же пути, сделав книгу более доступной. Просто, в отличие от вас, Ницше на этом не остановился.

– Я не Ницше...

– Да, вы не Ницше. Но вы это вы, и тем интересны. И простите за прямоту, вы – тот, кто мне нужен. Давайте играть в открытую, вы ведь и так уже все поняли: я хотел бы убедить вас вернуться к преподаванию в университете, которым я руковожу.

В этот момент открылась дверь, что избавило меня от необходимости отвечать, и вошла пухленькая женщина лет сорока, с доброжелательным выражением лица, в руках у нее был поднос с горячими пирожками и обещанной бутылкой “Мерсо” в ведерке со льдом.

– Это Малика, моя старшая супруга, – сказал он, когда она вышла. – Вам сегодня везет на моих жен. Я вступил с ней в брак еще в Бельгии. Да, я бельгиец. Я по-прежнему являюсь гражданином Бельгии, хоть и живу во Франции уже больше двадцати лет.

Горячие пирожки, острые, но в меру, были восхитительны, я распознал в них вкус кориандра. Вино тоже оказалось потрясающим.

– Боюсь, “Мерсо” недооценивают, – с воодушевлением воскликнул я. – “Мерсо”, я бы сказал, вобрало в себя букеты множества других вин, вы не находите? – Я готов был говорить о чем угодно, кроме моего университетского будущего, но не стоило обольщаться, он все равно рано или поздно вернется к этой теме.

Что он и сделал, выдержав нужную паузу.

– Я рад, что вы согласились курировать издание в “Плеяде”. Ну, я хочу сказать, что это очевидно, закономерно и правильно. Когда Лаку сказал мне об этом, что я мог ему ответить? Что он принял правильное и своевременное решение, трудно было сделать лучший выбор. Буду с вами откровенен: если не считать Жиньяка, мне пока не удалось добиться сотрудничества преподавателей, пользующихся международным признанием; ну, особой беды в этом нет, университет только что открылся. Тем не менее сейчас просителем выступаю я и, увы, немного могу вам предложить. То есть в финансовом плане, вы ведь в курсе, я могу предложить как раз очень много, что в конечном счете тоже немаловажно. Но вот в плане интеллектуальной должности в Сорбонне, пожалуй, менее

престижна, чем работа в “Плеяде”, я прекрасно это понимаю. При этом ручаюсь вам, ручаюсь лично, что вашей основной работе ничто не помешает. Вы будете читать только самые простые поточные лекции первому и второму курсу. Я понимаю, что занятия с аспирантами – дело утомительное, у меня самого ушло на это много сил, так что от них мы вас избавим. Я договорюсь с кафедрой.

Он умолк, и мне показалось, что он исчерпал первый запас аргументов. Он наконец сделал глоток “Мерсо”, я же налил себе второй бокал. Еще никогда, мне кажется, я не чувствовал себя столь *желанным*. Мотор славы работает с перебоями, может, моя диссертация и правда была такой гениальной, как он уверял, но вообще-то я весьма приблизительно помнил ее содержание, интеллектуальные выражи ранней юности казались мне слишком далекими, но все же *какое-никакое реноме* у меня еще сохранилось, хотя на самом деле мне уже ничего так не хотелось, как почитать, улегшись в постель в четыре часа дня с блоком сигарет и бутылкой чего-нибудь покрепче, впрочем, следовало признать, что если так и дальше пойдет, то я умру, умру довольно быстро, несчастный и одинокий, а так уж ли мне хочется быстро умереть несчастным и одиноким? Если честно, то не слишком.

Я допил вино и наполнил свой бокал в третий раз. В широкое окно был виден закат над аренами; молчание затягивалось. Он хочет *сыграть в открытую*, ну что ж, пожалуйста.

– Все-таки у меня есть одно условие... – сказал я осторожно. – Одно, но существенное.

Он медленно кивнул.

– По-вашему... По-вашему, я похож на человека, который может принять ислам?

Он опустил голову, словно погрузился в напряженные раздумья личного характера; потом, подняв взгляд на меня, ответил:

– Да.

Мгновение спустя он вновь просиял, одарив меня сердечной улыбкой. Я удостаивался ее уже во второй раз, что немного смягчило потрясение. Но все равно устоять перед его улыбкой было невозможно. В любом случае слово теперь было за ним. Я съел один за другим два пирожка, успевших уже остыть. Солнце скрылось за амфитеатром, арены погрузились во мрак; странно было думать, что здесь на самом деле происходили бои гладиаторов с хищниками тысячелетия два назад.

– Вы же не католик, значит, в этом смысле вас ничто не сдерживает, – тихо продолжал он.

И то верно. Чего нет, того нет.

– И я не думаю, что вы такой уж нестигаемый атеист. Настоящие атеисты, в сущности, встречаются редко.

– Вы так считаете? У меня, напротив, сложилось впечатление, что атеизм повсеместно распространен в западном мире.

– Это только кажется. Немногие убежденные атеисты, которые мне попадались, были *бунтарями*; они не довольствовались бесстрастным отрицанием Бога, нет, они отвергали его существование на манер Бакунина: “Если бы Бог действительно существовал, следовало бы уничтожить его”. Ну, это скорее атеисты вроде Кириллова, отметающие Бога потому, что хотят назначить на его место человека; будучи гуманистами, они во главу угла ставят свободу человека и достоинство личности. Я думаю, что в этом портрете вы тоже себя не узнаете?

Никак нет, не узнавал; меня замутило от одного слова “гуманизм”, хотя, возможно, виноваты были и горячие пирожки, я их явно переел; я налил себе еще бокал “Мерсо”, чтобы прийти в себя.

– Дело в том, – продолжал он, – что большинство людей живет, не особенно забивая себе голову подобными вопросами, потому что считает их чересчур философскими; они задаются ими лишь в драматических обстоятельствах – когда тяжело заболевает или умирает кто-то из близких. Конечно, сказанное относится к Западу, потому что во всем остальном мире люди гибнут, убивают и ведут кровавые войны как раз во имя этих вопросов. Так уж повелось испокон веков: люди сражаются из-за метафизических истин, а не из-за темпов экономического роста или дележа охотничьих угодий. Но даже на Западе, если вдуматься, у атеизма нет прочной основы. Говоря о Боге, я для начала даю собеседникам почитать учебник по астрономии...

– Да, снимки у вас замечательные.

– Красота Вселенной не знает границ, а главное, потрясает ее грандиозность. Это сотни миллиардов галактик, каждая состоит из сотен миллиардов звезд, часть которых находится на расстоянии миллиардов световых лет – то есть сотен миллиардов миллиардов километров. И вот в масштабе миллиарда световых лет зарождается некий порядок, галактические скопления распределяются, образуя ориентированный граф. Изложите эти научные факты сотне случайных прохожих: сколько из них будет иметь наглость утверждать, что все это возникло *случайно*? К тому же Вселенная относительно молода, ей самое большее пятнадцать миллиардов лет. Вспомните знаменитую обезьяну за пишущей машинкой: сколько времени понадобится обезьяне, барабанящей по клавишам, чтобы

напечатать какое-нибудь произведение Шекспира? Сколько времени понадобится, чтобы вслепую, случайным образом, создать Вселенную? Уж наверняка побольше, чем пятнадцать миллиардов лет!.. И так считают не только люди с улицы, но и великие ученые; возможно, в истории человечества не было более блестящего ума, чем Исаак Ньютон, – представьте себе только, какое неслыханное, небывалое интеллектуальное усилие потребовалось, чтобы объединить в одном законе падение тел и движение планет! Так вот, Ньютон верил в Бога, и верил твердо, до такой степени, что посвятил последние годы своей жизни толкованию Библии – единственного священного текста, который был ему на самом деле доступен. Да и Эйнштейн был не большим атеистом, чем Ньютон, даже если истинная природа его веры труднее поддается определению; но, когда он возражает Бору, говоря, что “Бог не играет в кости”, он вовсе не шутит, ему кажется немыслимым, чтобы законы Вселенной управлялись случаем. Возьмем “Бога-часовщика”: этот аргумент, который Вольтер считал неопровержимым, значим сегодня ничуть не меньше, чем в XVIII веке, более того, он звучит все убедительнее, по мере того как наука устанавливает сеть взаимосвязей между астрофизикой и квантовой механикой. Ну не смешно ли смотреть, как это хилое существо, живущее на ничтожной планетке какого-то дальнего ответвления заштатной галактики, встает на задние лапы и заявляет: “Бога нет”? Извините, я заболтался...

– Не извиняйтесь, мне это на самом деле очень интересно... – возразил я совершенно искренне, я уже порядком напился и, исподтишка взглянув на бутылку “Мерсо”, понял, что она пуста. – Ведь правда, – продолжал я, – мой атеизм не имеет под собой каких-либо твердых основ; с моей стороны было бы слишком самонадеянно утверждать обратное.

– Вот именно, самонадеянно. В основе атеистического гуманизма лежат невообразимая заносчивость и высокомерие. И даже христианская идея Воплощения, в сущности, тоже есть свидетельство несколько комичной претенциозности. Бог стал человеком... Почему тогда уж Бог не воплотился в жителя Сириуса или туманности Андромеды?

– Вы верите во внеземную жизнь? – удивленно перебил его я.

– Не знаю, я редко об это задумываюсь, но, в принципе, это чисто математический вопрос: учитывая мириады звезд, заполнивших Вселенную, и многочисленные планеты, вращающиеся вокруг каждой из них, было бы удивительно, если бы жизнь зародилась исключительно на Земле. Но это ладно, я хочу сказать просто, что Вселенная несет на себе явный отпечаток рационального замысла и является, несомненно, результатом осуществления проекта, задуманного неким колоссальным

разумом. И эта немудреная мысль должна была рано или поздно снова заявить о себе, я это понял еще в далекой юности. Весь интеллектуальный спор двадцатого века выразился в противостоянии между коммунизмом – скажем так, “жестким” вариантом гуманизма – и либеральной демократией, его мягким вариантом; какая все-таки ограниченность! Возвращение религии, о котором начинали тогда говорить, лично мне представлялось неизбежным уже лет в пятнадцать, я думаю. Моя семья исповедовала католичество – хотя к тому времени все уже основательно забылось, истинными католиками были скорее мои дед и бабушка, – так что я, вполне естественно, заинтересовался прежде всего католицизмом. И уже на первом курсе университета сблизился с идентитаристами.

Видимо, от него не укрылось мое изумление, потому что он замолчал и, чуть усмехнувшись, взглянул на меня. Но тут постучали в дверь. Он ответил что-то по-арабски, и в комнате снова появилась Малика с очередным подносом, на котором стояли кофейник, две чашки и тарелка с фисташковой пахлавой и марокканскими бриуатами. А также бутылка тунисской водки и две рюмки.

Прежде чем продолжить, Редигер налил нам кофе. Он был горький, очень крепкий и подействовал на меня благотворно – в голове тут же прояснилось.

– Я никогда не скрывал своей юношеской позиции, – начал он. – И мои новые друзья-мусульмане даже не думают ставить мне ее в вину; они вообще считают, что, отвергая атеистический гуманизм, я в поисках пути имел все основания обратиться, прежде всего, к религии своих предков. Кстати, мы не были ни расистами, ни фашистами – ну, если уж совсем честно, некоторые идентитаристы от этого недалеко; но я сам – ни в коем случае, ни за что. Всякого рода фашизм всегда представлялся мне призрачной, кошмарной и безнадежной попыткой вдохнуть жизнь в мертвые нации; не будь христианства, европейские народы превратились бы в лишенное души тело – то есть в зомби. Но может ли христианство возродиться, вот в чем вопрос. Я верил в это, верил в течение нескольких лет, но мои сомнения росли, на меня все большее влияние оказывала философия Тойнби, его идея, что цивилизации гибнут не от руки убийцы, а сами убивают себя. Потом все перевернулось, за один день, а именно тридцатого марта 2013 года; как сейчас помню, это был пасхальный уикенд. В то время я жил в Брюсселе и иногда заходил выпить в бар отеля “Метрополь”. Мне всегда нравился стиль ар-нуво: в Праге и в Вене сохранилось много потрясающих мест, в Париже и Лондоне тоже

попадают интересные здания, но лично мне, справедливо это или нет, вершиной стиля ар-нуво всегда казался брюссельский “Метрополь”, и в частности его бар. Утром тридцатого марта, случайно проходя мимо, я увидел объявление, что бар “Метрополя” закрывается навсегда в тот же вечер. Меня это потрясло; я обратился к официантам. Они подтвердили, что это так; почему, они точно не знали. Подумать только, до сих пор можно было запросто заказать сэндвич и пиво, венский шоколад и пирожные с кремом, сидя в настоящем храме декоративного искусства, жить изо дня в день в окружении такой красоты, и вот теперь все это разом исчезнет, в самом сердце европейской столицы!.. И тут я понял: Европа уже совершила самоубийство. Вас, верного читателя Гюисманса, конечно, раздражает, как и меня, его несправимый пессимизм и постоянные проклятия, которыми он клеймит посредственность своего времени. Притом что он жил в эпоху, когда европейские народы, достигнув вершин, стояли во главе гигантских колониальных империй и были владыками мира, в блистательную эпоху техники и искусств; подумайте только – железные дороги, электрическое освещение, телефон, фонограф, металлические конструкции Эйфеля, а уж в искусстве всех имен и не перечислишь, будь то писатели, художники или музыканты.

Он, разумеется, был прав; даже с более частной точки зрения “искусства жить” деградация была налицо. Взяв кусок пахлавы, предложенной Редигером, я вспомнил, что несколько лет назад прочел книгу, посвященную истории борделей. Среди иллюстраций фигурировала репродукция рекламного объявления, помещенного парижским борделем Прекрасной эпохи. Я был поражен, обнаружив, что о некоторых предложенных *Мадемуазель Ортанс* сексуальных услугах я просто никогда не слышал; я даже вообразить не мог, что таили в себе “путешествие на желтую землю” или “русское императорское мыло”. То есть воспоминания о некоторых сексуальных обычаях всего за какой-то век начисто исчезли из памяти мужчин, как исчезают, например, мастера кустарных ремесел, вроде звонарей и изготовителей сабо. Как тут не поддержать тезис об упадке Европы?

– Та Европа, что находилась на вершине цивилизации, убила себя всего за несколько десятилетий, – печально произнес Редигер; он не зажег верхний свет, и комната освещалась только настольной лампой.

– По всей Европе существовали движения анархистов и нигилистов, везде призывали к насилию и начисто отвергали нравственный закон. А потом, несколько лет спустя, все закончилось каким-то непростительным безумием – Первой мировой войной. Фрейд был прав, равно как и Томас

Манн: если Франция и Германия, самые продвинутые и цивилизованные нации в мире, могли ввязаться в эту немыслимую мясорубку, значит, Европа умерла. Помню, тот последний вечер я провел в “Метрополе”, досидев до самого закрытия. Я вернулся домой пешком, прошагав полгорода, пройдя в том числе мимо фасадов Евросоюза, мрачной крепости посреди трущоб. На следующий день я отправился в Завентем к имаму. А еще через день, в пасхальный понедельник, в присутствии десятка гостей, я принял ислам, произнеся ритуальную формулу свидетельства веры.

Я не был уверен, что разделяю его точку зрения на решающую роль Первой мировой войны; разумеется, это была непростительная бойня, но войну 1870 года тоже можно считать вполне безумной, во всяком случае, если верить описанию Гюисманса; она уже тогда обесценила патриотизм в любом его проявлении; народы всем скопом увязли в этом смертоносном абсурде, и, вероятно, люди вменяемые поняли это уже в 1871 году; вот отсюда, по-моему, и проистекали нигилизм, анархизм и прочие мерзости. Что касается более ранних цивилизаций, то я был не очень в курсе. Арены Лютеции погрузились во тьму, оттуда ушли последние туристы; немногочисленные фонари отбрасывали на ступени амфитеатра слабый свет. Наверняка римляне буквально накануне падения своей империи все еще считали себя вечной нацией; они что, тоже покончили с собой? Рим был цивилизацией грубой и весьма компетентной в военном плане, цивилизацией жестокой, где в качестве развлечения толпе предлагались смертельные побоища между людьми или между людьми и дикими зверями. Но было ли у римлян желание исчезнуть, какая-то тайная червоточина? Редигер наверняка читал Гиббона и других авторов того же рода, которых я знал разве что понаслышке, и чувствовал себя недостаточно подкованным, чтобы поддержать разговор.

– Что-то я увлекся, – сказал он, смущенно махнув рукой. Он налил мне рюмку бухи и снова протянул поднос со сладостями; они были и так очень вкусны, а в сочетании с горечью инжирной водки просто восхитительны.

– Уже поздно, пора мне, видимо, освободить вас от своего присутствия, – сказал я неуверенно; мне не очень-то хотелось уходить, если честно.

– Подождите! – Редигер встал и направился к столу, за которым стояли в ряд словари и справочники. Он вернулся с небольшой книжкой собственного сочинения, вышедшей в карманной иллюстрированной серии под заголовком “Десять вопросов об исламе”.

– Вот, я вас уже три часа агитирую, притом что написал книгу на ту же

тему, но, видимо, это становится второй натурой... Хотя, может быть, вы о ней слышали?

– Да, она очень хорошо продалась, не так ли?

– Три миллиона экземпляров, – извиняющимся тоном сказал он. – У меня неожиданно открылись небывалые способности к популяризации. Конечно, все это весьма схематично... – снова извинился он, – зато вы хотя бы быстро ее прочтете.

Там было 128 страниц и немало иллюстраций – в основном репродукции произведений исламского искусства; и правда, на нее вряд ли уйдет много времени. Я сунул книжку в рюкзак.

Он подлил нам еще бухи. За окном вошла луна, ярко осветив арены, теперь ее сияние затмевало фонари; над фотографиями сур Корана и галактик, висящими на стене среди зелени, я заметил лампочки подсветки.

– Вы живете в очень красивом доме...

– Я стремился сюда много лет, и, поверьте, это оказалось непросто...

Он откинулся на спинку кресла и впервые после моего прихода, как мне показалось, по-настоящему расслабился: он собирался мне сказать что-то действительно важное для него, это было очевидно.

– Конечно, мне интересен не Полай, кому вообще может быть интересен Полай? Но для меня каждая минута наполнена счастьем от сознания, что я живу в доме, где Доминик Ори написала “Историю О”, во всяком случае, тут жил ее любовник, признанием в любви к которому и стала эта книга. Поразительная вещь, да?

Я с ним согласился. В “Истории О”, по идее, было все, чтобы мне не понравиться: я испытывал отвращение к выставленным напоказ сексуальным фантазиям, да и вообще во всем этом был оттенок заносчивого китча – квартира на острове Сен-Луи, особняк в квартале Фобур-Сен-Жермен, *сэр Стивен*, короче, тоска смертная. И однако страсть, звучащая в этом тексте, и его особое дыхание искупали все остальное.

– Покорность, – тихо сказал Редигер. – Никогда еще с такой силой не была выражена столь ошеломляющая и простая мысль – что высшее счастье заключается в полнейшей покорности. Вряд ли я бы рискнул развить эту идею в присутствии своих единомышленников, они, возможно, сочли бы ее кощунственной, но мне кажется, существует связь между абсолютной покорностью женщины мужчине, наподобие той, что описана в “Истории О”, и покорностью человека Богу, как того требует ислам. Видите ли, – продолжал он, – ислам приемлет мир, приемлет во всей его полноте, приемлет мир *таким, как он есть*, как сказал бы Ницше. С точки зрения

буддизма, мир есть *дуккха* – беспокойство, страдание. Христианство тоже порой этим грешит, недаром ведь Сатану называют “князем мира сего”? Для ислама же, напротив, божественное творение совершенно, это абсолютный шедевр. В сущности, что такое Коран, как не колоссальная мистическая хвалебная ода? Хвала Создателю и покорность его законам. Тем, кто хочет ознакомиться с исламом, я обычно не советую начинать с чтения Корана, разве что они готовы дать себе труд выучить арабский, чтобы погрузиться в оригинальный текст. Я советую им просто слушать и повторять суры, постараться ощутить их дыхание, внутреннее движение. Все же ислам – единственная религия, запрещающая использовать перевод в богослужении, ибо Коран состоит целиком из тактов, рифм, рефренов и созвучий. В основе его лежит глубинный принцип поэзии, единство звучания и смысла, позволяющее выразить мир.

Он снова, будто извиняясь, развел руками, думаю, он делал вид, что стесняется собственного прозелитического пыла, прекрасно сознавая при этом, что уже не раз держал такие речи перед многочисленными преподавателями, пытаясь их обратить; неудивительно, что замечание о запрете на использование перевода Корана в богослужении подействовало, например, на Жиньяка, который, как и многие медиевисты, косо смотрит на переложение объекта их поклонения на современный французский; в конце концов, его аргументы, пусть и отшлифованные многократным повторением, сохраняли всю свою силу. И я невольно задумался о его образе жизни: сорокалетняя жена на кухне, пятнадцатилетняя для иных целей... наверняка у него есть еще парочка жен промежуточного возраста, но я не рискнул задать ему этот вопрос. Решительно встав, чтобы уже наконец уйти, я поблагодарил его за интереснейший вечер, перешедший меж тем в ночь. Он сказал, что тоже прекрасно провел время, в общем, на пороге состоялось краткое состязание в любезности; но мы оба были искренни.

Дома, проворочавшись в постели целый час, я вдруг понял, что сегодня мне уже не уснуть. Выпивки у меня почти не осталось, не считая бутылки рома, а ром вряд ли удачно сочетается с бухой, но мне необходимо было выпить. Впервые в жизни я задумался о Боге, всерьез рассматривая возможность существования некоего Создателя, наблюдающего за каждым моим поступком, и моя первая реакция была вполне определенной: я просто испугался. Понемногу мне удалось успокоиться, призвав на помощь ром и убеждая себя, что я, в общем, личность весьма незначительная и у Создателя хватает других дел и т. д., но все-таки я никак не мог избавиться

от кошмарной мысли, что, заметив внезапно мое существование, он протянет *карающую длань*, и у меня, например, обнаружится рак челюсти, как у Гюисманса, курильщики вообще часто ему подвержены, вот Фрейд тоже, кстати, да, именно, рак челюсти, очень похоже на правду. И что я буду делать, когда мне удалят челюсть? Как я выйду на улицу, отправлюсь в супермаркет, как буду что-то покупать, выдерживая сочувствующие и брезгливые взгляды? А если я сам уже не смогу выйти за покупками, кто сделает их за меня? Ночь предстояла долгая, и я чувствовал себя трагически одиноким. Хватит ли у меня элементарного мужества покончить с собой? Совсем не факт.

Я проснулся около шести утра с жуткой мигренью. Пока кофе капало сквозь фильтр, я пустился на поиски “Десяти вопросов об исламе”, но через пятнадцать минут вынужден был констатировать, что рюкзак пропал, наверное, я оставил его у Редигера.

Приняв две таблетки аспирина и ощутив вскоре прилив энергии, я углубился в чтение словаря театрального жаргона 1907 года издания и умудрился отыскать там употребленные Гюисмансом два редких слова, которые вполне могли сойти за неологизмы. Это была самая увлекательная часть моей работы, увлекательная и сравнительно несложная; вот с предисловием будет хуже, тут уж мне спуска не дадут, в этом я не сомневался. Рано или поздно мне придется вернуться к своей диссертации. Эти восемьсот страниц внушали мне ужас, я был совершенно ими пришиблен; насколько я помнил, я тогда перечитывал все произведения Гюисманса в свете его грядущего обращения. Сам автор подталкивал именно к такому прочтению, и я просто пошел у него на поводу, его собственное предисловие к роману “Наоборот”, написанное двадцать лет спустя, весьма показательно в этом смысле. Можно ли сказать, что “Наоборот” ведет прямым путем в лоно церкви? В итоге он и правда пришел к вере, в искренности Гюисманса можно не сомневаться, и “Толпы Лурда”, его последняя книга, – истинно христианское произведение, ибо этот одинокий эстет и мизантроп, преодолев отвращение, которое внушал ему сусальный ширпотреб в церковных лавках Сен-Сюльпис, дал наконец увлечь себя наивной вере толпы паломников. С другой стороны, на практике это не потребовало от него больших жертв: будучи аббатом при аббатстве Лигюже, он имел право жить за пределами монастыря; у него была собственная служанка, которая готовила привычные ему домашние блюда, игравшие важную роль в его жизни; у него была личная библиотека и свой голландский табак. Он присутствовал на всех богослужениях, и наверняка ему это нравилось, все страницы его последних книг

проникнуты возвышенной любовью, эстетской, почти плотской любовью к католической литургии; но метафизические вопросы, затронутые накануне Редигером, он вообще не упоминает. Что касается безграничных пространств, устрасавших Паскаля и вызывавших у Ньютона и Канта благоговейный восторг, то их он даже не заметил. Да, Гюисманс принял католичество, но не так, как Пеги или Клодель. И моя диссертация, внезапно понял я, тут мне вряд ли поможет, да и объяснения самого Гюисманса не больше.

Часов в десять утра я решил, что уже прилично будет явиться в дом номер 5 по улице Арен; вчерашний мажордом все в том же кремовом костюме встретил меня с улыбкой. Профессора Редигера нет дома, сообщил он, и да, я тут кое-что забыл. Он вынес мне мой рюкзак *Adidas* через полминуты, наверняка с самого утра держал его под рукой; он был куртуазен, деятелен и сдержан, и в каком-то смысле поразил меня даже больше, чем жены Редигера. Похоже, все хозяйственные затруднения он разрешает одним мановением руки.

Возвращаясь обратно по улице Катрефаж, я оказался, сам того не желая, перед главной парижской мечетью. Но в мыслях моих возник вовсе не гипотетический Творец Вселенной, а сколь это ни прозаично, всего-навсего Стив: как ни крути, подумал я, а уровень преподавания резко снизился. Конечно, мне далеко до популярности Жиньяка, но все же, если я решу вернуться, меня наверняка встретят с радостью.

И, уже сознательно на сей раз, я продолжил свой путь по улице Добантон, по направлению к университету Париж-III. Я не собирался туда заходить, просто мне хотелось поклониться перед оградой; но я не смог сдержать улыбку, увидев охранника сенегальца. Он тоже просиял:

– Рад видеть вас, месье! Хорошо, что вы вернулись!..

У меня не хватило духу разубеждать его, и я послушно вошел за ним в центральный двор. Все-таки я отдал этому факультету пятнадцать лет жизни, и мне было приятно хоть кого-то тут узнать. Интересно, ему тоже пришлось принять ислам, чтобы заново наняться на работу? Впрочем, может, он и так был мусульманином, как многие сенегальцы, во всяком случае, такое у меня было ощущение.

Я погулял минут пятнадцать под арками из металлических балок, слегка удивляясь своей внезапной ностальгии, но ни на минуту не забывая при этом, что на самом деле все это страшно уродливо, эти кошмарные корпуса были построены в худший период модернизма, но ностальгия ведь отнюдь не эстетическое чувство, она даже не связана со счастливыми

воспоминаниями, мы испытываем ностальгию по какому-то месту просто потому, что там жили, хорошо ли, плохо ли – не важно, прошлое всегда прекрасно, будущее, кстати, тоже; причиняет боль только настоящее, и мы носим его в себе, словно некий гнойник страданий, ни на минуту не покидающий нас в промежутке между двумя бескрайними полосами чистого счастья.

Пока я шагал под металлическими балками, ностальгия моя понемногу выветрилась, да и вообще я практически перестал думать. У меня в мыслях еще промелькнул напоследок образ Мириам, когда я проходил мимо бара на первом этаже, где мы увиделись в первый раз. Это было мимолетно, но очень болезненно. Все студентки теперь, само собой, были в платках, в основном белых, и прогуливались под арками по двое или по трое, все это чем-то напоминало монастырь, хотя у меня создалось впечатление, что атмосфера способствует учебе. Я попытался представить себе, как все это выглядит в старинном здании университета Париж-IV, там, наверно, кажется, что мы вернулись во времена Элоизы и Абеляра.

“Десять вопросов об исламе” действительно оказались простой и очень разумно построенной книжкой. Из первой главы, отвечавшей на вопрос: “Что есть наша вера?”, я не узнал практически ничего нового. В общем и целом Редигер об этом и говорил мне накануне, когда мы сидели у него: бескрайность и гармония Вселенной, совершенство замысла и тому подобное. Далее следовал краткий пассаж о пророках ислама и о Магомете, последнем в их черед.

Как, видимо, большинство читателей, я пролистнул главы о священном долге, столпах ислама и посте, перейдя сразу к седьмому вопросу “Зачем нужна полигамия?”. Доводы, прямо скажем, были весьма оригинальные. Для исполнения своих высших замыслов, писал Редигер, Создатель Вселенной следует в том, что касается неодушевленного космоса, законам геометрии (неэвклидовой, разумеется, и некоммутативной; ну, какой-то там геометрии). Что же касается живых существ, то, напротив, замыслы Создателя претворяются посредством естественного отбора, благодаря чему одушевленные особи достигают высочайшей красоты и жизненной силы. И для всех видов животных, к которым относится и человек, закон един: только отдельные индивиды востребованы для передачи своего семени и порождения следующего поколения, от которого, в свою очередь, проистекает бесконечное число поколений. В случае млекопитающих, учитывая срок вынашивания детенышей и практически неограниченную воспроизводительную

способность самцов, селективная функция ложится, прежде всего, на плечи последних. Неравенство между самцами – некоторым из них достается в пользование несколько самок, в то время как другие, соответственно, их лишаются – должно рассматриваться не как негативное следствие полигамии, а, напротив, как ее реальная цель. Таким образом вершится судьба вида.

Эти занятные рассуждения подводили автора прямиком к восьмой главе “Экология и ислам”, куда менее спорной, где он походя касался халяльной пищи, уподобляя ее улучшенному биопитанию. Что касается глав IX и X, посвященных экономике и политическим институтам, то они словно специально были придуманы, чтобы незаметно навести читателя на мысль о кандидатуре Мохаммеда Бен Аббеса.

В этой работе, адресованной самой широкой аудитории, и, кстати, с успехом охватившей ее, Редигер предлагал множество компромиссов для гуманистов, не забывая сравнивать ислам с пасторальными и brutальными цивилизациями, ему предшествовавшими. Он подчеркивал, что полигамию не ислам придумал, он лишь способствовал установлению правил ее применения на практике; и не ислам стоял у истоков побивания камнями и женского обрезания; к тому же пророк Магомет считал освобождение рабов похвальным делом и, декларируя принципиальное равенство всех людей перед Создателем, положил конец любым формам расовой дискриминации в подвластных ему странах.

Все эти доводы я сто раз слышал и знал наизусть, что вовсе не мешало им звучать убедительно. Но что потрясло меня во время нашей встречи и еще больше потрясло в книге, так это ощущение *отшлифованности* текста, что определенно приближало Редигера к политическому поприщу. Проведя вместе целый вечер на улице Арен, мы с ним ни разу не заговорили о политике, но почему-то я совершенно не удивился, когда неделю спустя, в результате министерской рокировки, он был назначен на должность замминистра по делам университетов, восстановленную по такому случаю.

За это время я успел убедиться, что в статьях, предназначенных для более келейных изданий, вроде *Revue d'études palestiniennes* и *Oummah*, он так не осторожничал. Полное отсутствие журналистского интереса было настоящей удачей для интеллектуалов, потому что сегодня все это было в сети в свободном доступе, хотя эксгумация его старых статей могла бы причинить ему неприятности; впрочем, как знать, возможно, я и заблуждался, многие интеллектуалы XX века поддерживали Сталина, Мао и Пол Пота, и их никогда особенно этим не попрекали; французские

интеллектуалы не подражались брать на себя *ответственность*, они выше этого.

В своей статье для *Oumrah* Редигер задавался вопросом, действительно ли исламу суждено править миром, и в итоге отвечал на него утвердительно. Он лишь вскользь упоминал западные цивилизации, обреченность которых представлялась ему очевидной (либеральный индивидуализм мог праздновать победу, пока он ограничивался изничтожением промежуточных структур, таких как нации, цеховые объединения и касты, но, покусившись на последнюю, базовую структуру, каковой является семья, и, соответственно, на демографию, он подписал себе смертный приговор; и вот тут, логически рассуждая, должен пробить час ислама). Он долго теоретизировал на тему развития Индии и Китая: сохрани Индия и Китай свою традиционную культуру, писал Редигер, они могли бы, будучи чужды монотеизма, избежать воздействия ислама; но, впусив заразу западных ценностей, они сами вырыли себе яму: он детально объяснял этот процесс и даже предлагал свой план-прогноз. В его ясно изложенной, документированной статье определенно чувствовалось влияние Генона, для которого различие между традиционными цивилизациями и цивилизацией современной было фундаментальным.

В другой статье он недвусмысленно выступал за несправедливое распределение богатств. Конечно, нищеты как таковой в подлинно мусульманском обществе быть не должно (милостыня – один из пяти столпов ислама), но следует поддерживать значительный разрыв между населением, живущим в достойной бедности, и незначительным меньшинством, купающимся в роскоши, достаточно состоятельным, чтобы позволить себе чрезмерные траты и безумства, обеспечивающие выживание индустрии люкса и искусств. Эта аристократическая позиция произрастала на сей раз прямоком из Ницше; в сущности, Редигер хранил похвальную верность кумирам своей юности.

Ницшеанской была и его саркастическая и оскорбительная враждебность по отношению к христианству, которое, по его мнению, основывалось исключительно на маргинальной и упадочнической личности Христа. Основатель христианства любил общество женщин, *и это чувствуется*, пишет он. “Если ислам презирает христианство, – цитирует он автора “Антихриста”, – то он тысячу раз прав: предпосылка ислама – *мужчины...*”^[19]. Идея божественности Христа, настаивает Редигер, была грубейшей ошибкой, которая не могла не привести к гуманизму и “правам человека”. Это Ницше тоже уже говорил, и даже в

более жестких выражениях, и он наверняка поддержал бы мысль, что миссия ислама – очистить мир, избавив его от тлетворного учения о Воплощении.

Я сам чувствовал, что с годами Ницше становится мне ближе, видимо, это неизбежно, когда возникают проблемы с сантехникой. И Элохим, возвышенный повелитель созвездий, стал мне гораздо интереснее своего бесцветного отпрыска. Иисус слишком любил людей, вот в чем проблема; и тот факт, что ради них он позволил распять себя на кресте, свидетельствует как минимум о *недостатке вкуса*, как сказала бы все та же старая сука. Да и прочие его действия тоже не отличались здравомыслием, взять хотя бы прощение блудницы с доводами типа “кто из вас без греха” и так далее. Также мне проблема, позвали бы мальчишку лет семи, он и бросил бы первый камень, гаденьш этакий.

Редигер писал очень хорошо, тексты его были ясными и обобщающими, к тому же не лишены юмора, например, он подшучивал над одним из своих собратьев и конкурентов, видимо, мусульманским интеллектуалом, который в одной из своих статей ввел понятие *имамов 2.0*, считавших своей миссией обращение юных французов, потомков иммигрантов-мусульман. Теперь следовало бы, поправляя его, говорить об *имамах 3.0*, которые взяли на себя обращение юных коренных французов; но Редигер был скуп на иронию; ей на смену тут же приходили серьезные рассуждения. В основном его сарказм был нацелен против *исламогошистов*: исламогошизм, писал он, стал отчаянной попыткой гниющих, разлагающихся марксистов, пребывающих в состоянии клинической смерти, выбраться со свалки истории, уцепившись за восходящие силы ислама. В концептуальном плане, продолжал он, они так же смешны, как пресловутые “левые ницшеанцы”. Он явно помешался на Ницше; впрочем, его статьи в ницшеанском духе быстро мне наскучили, я сам, переусердствовав в свое время с чтением Ницше, прекрасно знал его и понимал и его чарам уже не поддавался. Как ни странно, мне милее была геноновская жилка Редигера – конечно, если читать подряд все произведения Генона, можно сдохнуть от тоски, но Редигер предлагал доступную его версию, *light*, так сказать. Особенно мне понравилась его статья “Геометрия связи”, опубликованная в журнале *Etudes tmditionnelles*. В ней, возвращаясь к провалу коммунизма – который, в общем-то, был первой попыткой борьбы с либеральным индивидуализмом, – он подчеркивает, что Троцкий в конечном итоге оказался прав в своем споре со Сталиным: коммунизм мог восторжествовать только при условии, что

станет мировым. То же самое, замечает Редигер, верно и для ислама: он будет всемирным, или его не будет. Но главное в статье заключалось в странных размышлениях, в которых чувствовался некий китч в духе Спинозы, со схолиями и прочими штучками, по поводу теории графов. Только одна религия, настаивал автор, могла создать связанное отношение между индивидами. Рассмотрим, писал Редигер, связный граф, в нем все индивиды (вершины) соединены личными отношениями, но невозможно построить планарный граф, связывающий между собой всех индивидов вообще. Единственный выход – подняться на высший уровень, содержащий одну-единственную вершину под названием Бог, с которой будут связаны все индивиды; таким образом они будут связаны и между собой.

Все это приятно было читать; в то же время, с точки зрения геометрии, его доказательство показалось мне ложным; впрочем, это хотя бы отвлекло меня от сантехнических проблем. В остальном моя интеллектуальная жизнь застыла на мертвой точке: я преуспел в составлении справочного аппарата, а вот с предисловием не продвинулся ни на шаг. Кстати, в поисках информации о Гюисмансе я неожиданно наткнулся в интернете на одну из самых замечательных статей Редигера, напечатанную на сей раз в *Revue européenne*. Гюисманс там был упомянут походя, как писатель, у которого тупиковое состояние натурализма и материализма проявилось с наибольшей очевидностью; но статья сама по себе была важнейшим тайным призывом, обращенным к старым товарищам-традиционалистам и идентитаристам. Какая трагедия, пламенно восклицал автор, что безотчетная враждебность к исламу мешает им признать очевидное: по всем ключевым вопросам они всегда были согласны с мусульманами. Будь то неприятие атеизма и гуманизма, необходимость женской покорности или возврат к патриархату – их борьбу со всех точек зрения можно назвать общей. Но эта борьба, необходимая для утверждения новой “органической” фазы цивилизации, уже не может вестись сегодня от лица христианства; а ислам – религия братская, более молодая, простая и истинная (почему, например, Генон обратился в ислам? Генон, прежде всего, имел научный склад ума и пришел к исламу как ученый, оценив экономичность его понятийного ряда, а еще для того, чтобы избежать маргинальных, иррациональных верований, как, например, вера в реальное присутствие Христа в евхаристии), поэтому именно ислам принял сегодня эстафету Постыдное жеманство, телячьей нежности и заигрывание с прогрессистами привело к тому, что католической церкви уже не под силу противостоять падению нравов, твердо и мощно выступить против гомосексуального брака, аборт и права женщин на работу Пора уже признать: Западная

Европа, дойдя до крайней степени разложения и мерзости, не в состоянии спастись, как не мог спастись Рим в V веке нашей эры. Массовый приток мигрантов – носителей традиционной культуры с ее естественной иерархией, покорностью женщины и уважением к старшим – это исторический шанс для морального и семейного перевооружения Европы; мигранты открывают перспективу нового золотого века на старом континенте. Некоторые из этих народов исповедуют христианство; но в большинстве своем, разумеется, это мусульмане.

Лично он, Редигер, первым готов согласиться, что христианское Средневековье было величайшей цивилизацией, художественные свершения которой вечно будут жить в людской памяти; но мало-помалу эта цивилизация потеряла преимущество, ей пришлось пойти на сделку с рационализмом, отказаться от подчинения себе мирской власти, и так, постепенно, она обрекла себя на гибель, а все почему? Вообще-то никто не знает почему, тайна осталась тайной; так решил Господь.

Через некоторое время я получил давно заказанный “Словарь современного жаргона” Риго, изданный Оллендорфом в 1881 году, и, благодаря ему, мне удалось рассеять некоторые свои сомнения. Как я и подозревал, слово *claquedent* не было изобретением Гюисманса, оно обозначало публичный дом, а *clapier*, в более широком смысле, место, где занимаются проституцией. Гюисманс вступал в сексуальную связь практически только с проститутками, и из его переписки с Ареем Принсом можно почерпнуть всесторонние сведения о европейских борделях. Просматривая его письма, я вдруг понял, что мне надо срочно отправиться в Брюссель. Никаких особых причин для этого у меня не было. Конечно, Гюисманса издавали в Брюсселе, но, по правде говоря, почти все значимые авторы второй половины XIX века вынуждены были в один прекрасный день прибегнуть к услугам бельгийских издателей, чтобы избежать цензуры, и Гюисманс в том числе; но в то время, когда я писал диссертацию, я не видел смысла в поездке в Брюссель; я попал туда несколько лет спустя, скорее в связи с Бодлером; больше всего в этом городе меня поразили грязь и тоска, а также физически ощутимая ненависть между разными этническими группами, она казалась даже сильнее, чем в Париже и Лондоне: в Брюсселе, в большей степени, чем в любой другой европейской столице, чувствовалась близость гражданской войны.

Совсем недавно тут пришла к власти Мусульманская партия Бельгии. С точки зрения политического равновесия в Европе, это событие считалось

достаточно важным. Разумеется, в Англии, Голландии и Германии национальные мусульманские партии уже входили в правительственные коалиции, но Бельгия стала второй страной после Франции, где мусульманская партия получила большинство. Это кровавое поражение европейских правых в Бельгии объяснялось просто: валлонские и фламандские националистические партии, самые многочисленные в своих регионах, так и не сумели ни договориться, ни даже начать настоящий диалог, тогда как принадлежность к общей религии позволила партиям фламандских и валлонских мусульман очень быстро прийти к соглашению о формировании правительства.

Мохаммед Бен Аббес не замедлил горячо поприветствовать победу Мусульманской партии Бельгии; кстати, жизненные пути ее генерального секретаря, Реймонда Стювененса, и Редигера были во многом схожи: Стювененс тоже участвовал в идентитарном движении, занимал в нем высокий пост, ни разу не скомпрометировав себя связями с откровенно неофашистскими фракциями, после чего принял ислам.

Теперь в вагоне-ресторане скоростного поезда “Талис” предлагался выбор между традиционным и халяльным меню. Это было первое нововведение – и пока что единственное: на улицах было все так же грязно, а отель “Метрополь”, хоть его бар и закрылся, еще сохранил остатки былой роскоши. Я вышел на улицу около семи вечера, тут было немного холоднее, чем в Париже, и на тротуарах лежал почерневший снег. И когда я уже сидел в ресторане на улице Монтань-оз-Эрб-Потажер, в колебаниях между ватерзоем из курицы и угрем под зеленым соусом, во мне вдруг возникла уверенность, что я понял Гюисманса до конца, лучше, чем он сам себя понимал, и что теперь я могу написать предисловие, надо было срочно вернуться в отель и записать свои мысли, я вышел из ресторана, так и не сделав заказ. В меню *room-service* значился куриный ватерзой, что окончательно решило дело. Вряд ли стоит придавать слишком большое значение “разврату” и “кутежам”, о которых с готовностью пишет Гюисманс, это скорее что-то вроде фишки натуралиста, шаблон эпохи, связанный с необходимостью устроить скандал, шокировать добропорядочных обывателей; ну и в конце концов это способствует успеху; да и противопоставление его плотских appetitов строгостям монастырской жизни не должно вводить в заблуждение. С целомудрием никаких проблем не возникало, не возникало никогда, и у Гюисманса в том числе; мое краткое пребывание в аббатстве Лигюже только подтвердило мои ощущения. Подвергните человека эротическим искушениям

(совершенно, кстати, стандартным: глубокие вырезы и мини-юбки срабатывают безотказно, *tetas u culo*, лучше испанцев не скажешь), и он испытывает сексуальное влечение; уберите вышеупомянутые раздражители, и он перестанет его испытывать, а через несколько месяцев, а то и недель думать забудет о сексе; в сущности, у монахов с этим никогда никаких проблем не было, да я и сам, с тех пор как под давлением нового исламского порядка в женской одежде наметились изменения в сторону благопристойности, чувствовал, как постепенно стихают мои порывы, иногда я целыми днями даже не вспоминал об этом. Женщины, возможно, оказались в иной ситуации, поскольку у них сексуальное влечение более размыто и, следовательно, его сложнее подавить, впрочем, у меня не было времени вникать в детали, не имеющие отношения к моей теме, я лихорадочно записывал свои мысли и, покончив с ватерзоем, заказал сырную тарелку; не только секс у Гюисманса никогда не имел того значения, которое он сам ему приписывал, но и смерть, в общем, тоже, экзистенциальные тревоги его не терзали, и знаменитое “Распятие” Грюневальда поразило его не изображением агонии Христа, но лишь его физическими страданиями, а в этом Гюисманс ничем от прочих не отличался, как правило, людей не слишком волнует собственная смерть, их истинные переживания и озабоченность связаны с физическим страданием и возможностью избежать его. Позиции Гюисманса обманчивы даже в области художественной критики. Он яростно защищал импрессионистов, когда они боролись с академизмом, писал с восхищением о таких художниках, как Гюстав Моро и Одилон Редон, но сам в своих романах тяготел не столько к импрессионизму и символизму, сколько к куда более старой живописной традиции фламандских мастеров. Сновидения в романе “У пристани”, в которых при желании можно усмотреть некоторые странности символистской живописи, по сути, не удалась, или, во всяком случае, оставляют ощущение гораздо менее яркое, чем его пылкие, интимистские описания застолий у Каре в “Бездне”. Тут я понял, что оставил “Бездну” в Париже, пора было возвращаться, я включил интернет, ближайший “Талис” отправлялся в пять утра, так что в семь часов, уже дома, я нашел описания кухни мамы Каре, как он ее называл, ибо единственной подлинной темой Гюисманса было буржуазное счастье, труднодоступное для холостяка буржуазное счастье, к тому же счастье отнюдь не верхушки буржуазии, нет, в “Бездне” он воспекает старую добрую домашнюю кухню, и уж никак не аристократическое счастье, он всегда выказывал лишь презрение к “титulóванным дурам”, буквально размазав их по стенке в “Облате”. На самом деле счастьем в его глазах

было веселое застолье в компании друзей-художников – пот-о-фё с хреном, “доброе” вино, а под занавес сливовая водка и трубка у камелька, пока за окном порывы зимнего ветра хлещут башни Сен-Сюльпис. Жизнь лишила Гюисманса этих простых радостей, и только такой бесчувственный и грубый человек, как Леон Блуа, мог удивляться, что он плакал, когда в 1895 году умерла Анна Менье, его единственная настоящая спутница жизни, единственная женщина, с которой он, хоть и ненадолго, смог создать “семейный очаг”; позже ему пришлось отдать Анну, страдавшую неизлечимым в то время нервным недугом, в больницу Сент-Анн.

Днем я вышел и купил разом пять блоков сигарет, потом отыскал карточку ливанского кафе, доставлявшего заказы на дом, и через две недели предисловие было написано. Циклон, пришедший с Азорских островов, задел Францию, в воздухе ощущалась легкая весенняя влажность, какое-то обманчивое тепло. Еще в прошлом году при таких погодных условиях на улицах появились бы уже первые мини-юбки. Миновав авеню Шуази, я свернул на авеню Гоблен, потом на улицу Монж. В кафе неподалеку от Института Арабского мира я перечитал предисловие, получилось около сорока страниц. Мне предстояло еще проверить пунктуацию, уточнить некоторые ссылки, но я уже не сомневался: это лучшее, что я написал, и вообще лучший текст, когда-либо написанный о Гюисмансе.

Я вернулся домой пешком, неторопливо, по-стариковски, осознавая постепенно, что на этот раз моя интеллектуальная жизнь и вправду закончилась; закончились и мои долгие, очень долгие отношения с Жорисом-Карлом Гюисмансом.

Конечно, я не собирался сообщать эту новость Бастьену Лаку; я знал, что пройдет минимум год, а то и два, прежде чем он обеспокоится завершением работы; так что мне хватит времени, чтобы отточить постраничные сноски, короче, начиналась жизнь *supercool*.

Ну, просто *cool*, – умерил я свой пыл, открыв почтовый ящик впервые после возвращения из Брюсселя; бюрократические проблемы никуда не делись, бюрократия не дремлет.

Пока что мне не хватило духу вскрыть хотя бы один из этих конвертов; в течение двух недель я, если можно так выразиться, *витал в эмпириях*, в смысле *творил*, на своем скромном уровне; и вот так, в одно мгновение, вернуться к статусу обыкновенного подотчетного лица было сложновато. Но тут мне попался конверт иного рода, из университета Париж-IV Ну-ну, сказал я себе.

Ну-ну, сказал я себе уже серьезнее, когда ознакомился с письмом: меня

приглашали, прямо завтра, на церемонию, посвященную вступлению в должность профессора Жан-Франсуа Луазелера. После официальной части в аудитории Ришелье и приветственных речей состоится коктейль в соседнем зале, специально отданным под это мероприятие.

Я отлично помнил Луазелера, это он много лет назад сосватал меня в “Девятнадцатый век”. Его университетская карьера началась благодаря самобытной диссертации о последних стихах Леконта де Лиля. К Леконту де Лилю, который вместе с Эредиа считался лидером парнасцев, относились с пренебрежением, мол, “умелый мастер, но не гений”, как принято выражаться среди авторов антологий. Однако на старости лет, в результате некоего мистико-космологического кризиса, он написал несколько странных стихотворений, не имевших ничего общего ни с тем, что он писал раньше, ни с тем, что писали в его время, да и, честно говоря, ни с чем вообще не имевших ничего общего, и на первый взгляд это была попросту *чистая шиза*. Заслуга Луазелера состояла в том, что он первым откопал их и смог сказать о них что-то новое, хотя ему и не удалось установить какие-либо реальные литературные связи; по его мнению, следовало рассматривать эти произведения в свете некоторых интеллектуальных течений, вроде теософии и спиритуализма, к которым тяготел стареющий парнасец. Так Луазелер приобрел определенную известность в этой области, где у него не было ни единого конкурента, и, хотя ему было далеко до международного признания Жиньяка, его регулярно приглашали читать лекции в Оксфорд и Сент-Эндрюс.

Сам Луазелер удивительным образом соответствовал предмету своих исследований; никогда еще я не встречал человека, так похожего на ученого Косинуса из комиксов: длинные, грязные седые патлы, огромные очки и разрозненные костюмы в ужасном, почти антисанитарном состоянии, вызывали даже что-то вроде уважения к нему, с легким привкусом жалости. Разумеется, в его планы не входило *играть этого персонажа*: просто он так существовал и ничего не мог с собой поделать; в остальном же это был милейший и деликатнейший человек на свете, начисто лишенный тщеславия. Преподавание как таковое, предполагая все же некую форму общения с человеческими особями разного свойства, всегда внушало ему ужас; и как только Редигеру удалось его заманить? Хорошо, найду хотя бы на коктейль; любопытно все-таки.

В мое время парадные залы Сорбонны, овеянные исторической славой и обладающие престижным адресом, не использовались для университетских раутов, но их часто сдавали по заоблачным ценам для

модных дефиле и других *гламурных* мероприятий; пусть это было не очень почетно, но зато, в плане текущих затрат, позволяло свести концы с концами. Новые владельцы из Саудовской Аравии и тут навели порядок, и благодаря их начинанию этим помещениям вернули былое академическое достоинство. Войдя в первый зал, я с радостью увидел родные рекламные растяжки ливанского кафе, которое служило мне верой и правдой, пока я писал предисловие. Меню я знал наизусть и уверенно сделал заказ. Публика представляла собой обычную смесь из французских профессоров и арабских сановников; но на этот раз было много французов, мне показалось, что пришли все нынешние преподаватели. Что вполне объяснимо: многие все еще считали, что жить по указке саудовского начальства было позорным решением, актом *коллорационизма*, так сказать; объединившись же, они брали числом, подбадривали друг друга и радовались, когда представлялась возможность принять в свои ряды нового коллегу.

Только мне принесли мои мезе, как я столкнулся нос к носу с Луазелером. Он изменился: до презентабельности ему еще было далеко, но все-таки в его внешности наметился определенный прогресс. Волосы, по-прежнему длинные и сальные, были, не побоюсь этого слова, расчесаны; пиджак и брюки его костюма оказались приблизительно одного оттенка, и жирных пятен на них не наблюдалось, равно как и прожженных сигаретами дырок; тут явно чувствовалась – такое, во всяком случае, у меня создалось впечатление – женская рука.

– Ну да, – подтвердил он, хотя я ни о чем его не спрашивал. – Меня *захомутали*. Удивительное дело, я никогда об этом не задумывался, но, в сущности, это же так приятно. Кстати, рад вас видеть. А вы как поживаете?

– Вы хотите сказать, что *женились*? – Мне требовалось подтверждение.

– Вот-вот, женился, именно так. Странно это, конечно, будут два одною плотью, так ведь, да, странно, но приятно. А вы как поживаете?

Он с таким же успехом мог сообщить мне, что стал наркоманом или заядлым горнолыжником, от Луазелера я всего мог ожидать; и тем не менее я был сражен и тупо повторял, уставившись на планку ордена Почетного легиона на отвороте его ужасного синего пиджака с зеленым отливом:

– *Женились? На женщине?* – Кажется, я воображал, что к шестидесяти годам он так и не утратил девственности, а впрочем, все возможно.

– Да-да, на женщине, это они мне ее подыскали, – подтвердил он, энергично кивая. – На одной второкурснице.

Я обомлел, но в эту минуту к нему прицепился наш коллега,

эксцентричный старичок ему под стать, но все-таки поопрятнее, специалист по семнадцатому веку и бурлеску, автор работы о Скарроне, по моему. Чуть позже я заметил Редигера, он стоял в центре небольшой группки людей на другом конце галереи, в которой происходил прием. В последнее время, поглощенный своим предисловием, я о нем почти не вспоминал, но сейчас понял, что очень даже рад его видеть. Он тоже приветливо помахал мне.

– Теперь к вам надо обращаться “господин министр”? – пошутил я. – И как она, политика? Правда, так тяжело? – спросил я уже серьезнее.

– Тяжело. Слухи не врут. Я привык к борьбе за власть в университетском контексте, но это не идет ни в какое сравнение. Хотя, надо заметить, Бен Аббес – классный мужик; я горжусь, что работаю с ним.

Тут я вспомнил Таннера, который сравнивал его с императором Августом в тот вечер, когда мы ужинали у него дома в Ло; эта параллель вроде бы заинтересовала Редигера, во всяком случае, она давала пищу для ума.

– Переговоры с Ливаном и Египтом проходят хорошо, – сообщил он. – Уже состоялись первые контакты с Ливией и Сирией, там Бен Аббес задействовал свои личные знакомства среди местных “Братьев-мусульман”. По сути дела, он пытается менее чем за одно поколение и исключительно дипломатическим путем повторить то, на что Римская империя положила целые столетия, – и присовокупить заодно, без единого выстрела, так сказать, огромные территории Северной Европы вплоть до Эстонии, Скандинавии и Ирландии. К тому же, зная толк в символических жестах, он собирается внести предложение о переносе штаб-квартиры Европейской комиссии в Рим, а парламента – в Афины... Строители империи – большая редкость, – задумчиво добавил Редигер. – Трудно овладеть искусством объединять народы, разделенные религией и языком, и обеспечить их участие в едином политическом проекте. Кроме Римской империи, мне не приходит ничего на ум, ну разве что Османская, и то в меньшем масштабе. Наполеон, конечно, обладал необходимыми качествами – его решение по израэлитам выше всяких похвал, да и во время египетского похода он доказал, что в состоянии договориться и с исламом тоже. А Бен Аббес... Полагаю, что он из того же теста...

Я с энтузиазмом кивнул, и хотя упоминание Османской империи было мне не вполне понятно, я прекрасно себя чувствовал в этой возвышенно-легкой атмосфере светской беседы между образованными людьми. После чего, разумеется, разговор зашел о моем предисловии; мне было трудно дистанцироваться от работы над Гюисмансом, которая тайно или явно

занимала меня многие годы, – моя жизнь в конечном счете не имела иной цели, констатировал я про себя с легкой грустью, но вслух этого не произнес, вышло бы слишком пафосно, хотя так оно и было на самом деле. Впрочем, он внимательно слушал меня, не выказывая никаких признаков скуки. Прошел официант и подлил нам вина.

– Я, кстати, прочел вашу книгу, – сказал я.

– А... Рад, что вы нашли время. Подобная попытка популяризации для меня внове. Надеюсь, вам все было ясно.

– Дав целом все ясно. Хотя у меня возникли вопросы.

Мы сделали несколько шагов к окну, всего ничего, но тем не менее нам удалось выйти из потока гостей, фланировавших взад-вперед по галерее. В квадрате оконного переплета, в белом холодном свете виднелись колонны и купол часовни, построенной по заказу Ришелье; я вспомнил, что там хранится его череп.

– Вот Ришелье тоже великий государственный деятель, – сказал я просто так, но Редигер тут же подхватил мою мысль.

– Да, совершенно с вами согласен. То, что Ришелье сделал для Франции, бесценно. Французские короли бывали весьма заурядными личностями, виной тому причуды генетики; но великие министры не могли быть посредственностями, ни в коем случае. Любопытно, что хоть у нас сейчас и демократия, этот разрыв не сокращается. Я уже сказал, как высоко ценю Бен Аббеса; а вот Байру, наоборот, полный придурок, бессмысленное политическое животное, годное только на то, чтобы выделяться перед журналистами; к счастью, на практике вся власть сосредоточена в руках Бен Аббеса. Вы скажете, что я помешался на Бен Аббесе, но ведь и Ришелье тоже приводит меня к мысли о нем: потому что, как и Ришелье, Бен Аббес собирается оказать неоценимую услугу французскому языку. Благодаря вхождению в Европу арабских стран, лингвистическое равновесие сместится в сторону Франции. Вот увидите, рано или поздно будет предложен проект декрета, объявляющего французский язык рабочим языком европейских институтов наравне с английским. Но что я все о политике, простите меня... Вы сказали, у вас возникли вопросы по моей книге?

– Ну что ж, – начал я после долгой паузы, – мне, конечно, неловко, но я, как вы понимаете, прочел главу о полигамии, и, видите ли, мне сложно считать себя доминирующим самцом. Я вспомнил об этом, когда пришел сюда и столкнулся с Луазелером. Честно говоря, университетские профессора...

– Ну вот тут вы ошибаетесь, уверяю вас. Естественный отбор – это универсальный принцип, применимый ко всем живым существам, просто он принимает самые разные формы. Он действует даже в мире растений; но в этом случае он связан с доступом к питательным веществам в почве, к воде, к солнечному свету... Человек – это животное, как известно; но это не луговая собачка, не антилопа. Доминантное положение в природе ему обеспечивают не когти, не зубы и не скорость бега, а как раз таки его интеллект. Так что я вам ответственно заявляю: нет ничего ненормального в том, что профессора университетов включены в разряд доминирующих самцов.

Он снова улыбнулся.

– Знаете... В тот вечер, у меня дома, мы говорили о метафизике, о сотворении мира и т. д. Я прекрасно сознаю, что на самом деле людей это чаще всего не интересует, но подлинно серьезные темы, как вы сказали, затрагивать неловко. Вот и сейчас мы говорим о естественном отборе, пытаюсь вести беседу на достаточно высоком уровне. Конечно, вам трудно спросить меня в лоб: а какой мне назначат оклад, на скольких жен я могу претендовать?

– Что касается оклада, то я уже более или менее в курсе.

– Ну в общем-то количество жен им и определяется. Согласно закону ислама, у всех жен должны быть равные права, что, разумеется, вызывает некоторые неудобства, хотя бы даже в квартирном вопросе. Что касается вас, я думаю, вы сможете без особого труда содержать трех жен, но вы, конечно, совершенно не обязаны этого делать.

Тут было над чем подумать, хотя меня смущал гораздо больше другой вопрос; быстро оглядевшись, я удостоверился, что никто не может нас подслушать, и продолжил:

– И вот еще что... Но это вопрос деликатный... Скажем, в мусульманской одежде есть свои преимущества, и обстановка в обществе стала поспокойнее, но все-таки, я бы сказал, эта одежда слишком... закрытая, что ли. Боюсь, что при выборе могут возникнуть некоторые затруднения...

Улыбка Редигера стала еще шире.

– Тут нечего смущаться, поверьте мне! Вы не были бы мужчиной, если бы вас не заботили такие вещи... Но и я, со своей стороны, задам вам вопрос, который, возможно, удивит вас: вы действительно уверены, что хотите выбирать?

– Ну... да. Думаю, да.

– А может, это иллюзия? На практике все мужчины, поставленные в ситуацию выбора, всегда выбирают одно и то же. Вот почему во многих цивилизациях, в частности в мусульманской, появились свахи. Это очень нужная профессия, заниматься которой могут только весьма опытные и мудрые женщины. Кроме того, будучи женщинами, они имеют право смотреть на обнаженных девушек с целью, скажем так, предварительной оценки, чтобы впоследствии соотнести их внешние данные со статусом предполагаемых супругов. Претензий у вас не будет, не беспокойтесь...

Я умолк. Если честно, я так и застыл с открытым ртом.

– Между прочим, – сказал Редигер, – если род человеческий и способен хоть как-то эволюционировать, то он обязан этим именно гибкости женского ума. Мужчина на редкость трудновоспитуем. Чем бы он ни занимался – философией языка, математикой или сочинением сериальной музыки, он неминуемо осуществляет репродуктивный выбор, исходя из чисто физических критериев, остающихся неизменными на протяжении тысячелетий. Изначально, разумеется, женщин тоже прежде всего привлекают в мужчине физические данные; но в результате ряда воспитательных мер им можно внушить, что не это главное. Постепенно им начинают нравиться богатые мужчины, ведь обогащение, если вдуматься, тоже требует известного ума и находчивости, повыше среднего. В какой-то степени их удается убедить даже в исключительной эротической ценности университетских профессоров... – Теперь он откровенно усмехался, и я уже было решил, что он иронизирует, но нет, вряд ли. – Ну и в конце концов, профессорам можно назначить высокую зарплату, это все упрощает, как ни крути, – заключил он.

Он открывал перед мной, образно говоря, широкие перспективы. Интересно, обращался ли Луазелер к услугам свахи; впрочем, ответ на этот вопрос был и так ясен: неужели я мог допустить мысль, что мой бывший коллега кадрил студенток? В его случае брак по договоренности оставался, очевидно, единственным вариантом.

Прием подходил к концу, ночь была удивительно теплой; я вернулся домой пешком, особо ни о чем не думая, скорее мечтая на ходу. Тот факт, что моя интеллектуальная жизнь завершилась, представлялся мне все более бесспорным, впрочем, это не мешает мне принять участие в каких-нибудь невнятных коллоквиумах, доживая на остатки и в достатке. Но понемногу я начал сознавать – и вот это было как раз неожиданно, – что в моей жизни может возникнуть что-то еще.

Пройдет еще несколько недель, необходимых, скажем так, для

соблюдения приличий, на улице потеплеет, и весна окончательно вступит в свои права в Париже и пригородах; ну а потом, конечно, я позвоню Редигеру.

Он, слегка наигрывая, сделает вид, что очень рад, но из деликатности изобразит удивление, чтобы я не усомнился в собственной *свободе воли*: он будет и правда счастлив, узнав о моем согласии, это понятно, но на самом деле он ничего другого от меня и не ждал с самого начала, может быть, с того вечера, который мы провели у него дома на улице Арен, – ведь я тогда даже не попытался скрыть, какое впечатление на меня произвели прелести Айши и горячие пирожки Малики. Мусульманские женщины преданны и покорны, на них можно положиться, так уж они воспитаны, и, в принципе, этого достаточно, чтобы доставить удовольствие; что касается кухни, то наплевать, мне далеко до утонченности Гюисманса в этом отношении, но, как бы то ни было, они прошли необходимое обучение и, я думаю, их всех, за редким исключением, легко превратить в более или менее сносных домохозяек.

Сама же церемония обращения будет предельно простой; скорее всего, она состоится в соборной мечети Парижа, так всем удобнее. Учитывая некоторую значимость моей особы, нас, вероятно, почтит своим присутствием сам ректор мечети, ну или кто-нибудь из его непосредственных подчиненных. И Редигер тоже, конечно, придет. Число гостей никак не ограничивается; полагаю, в мечеть зайдут и обычные прихожане, закрывать ее из-за меня не станут, так что я должен буду произнести свидетельство веры перед лицом моих новых братьев мусульман, ибо мы равны перед Богом.

В утренние часы для меня специально откроют хаммам, хотя вообще-то он закрыт для мужчин; я проследую в купальном халате по длинным коридорам с аркадами и мозаикой; потом, в небольшом зале, залитом голубоватым светом и декорированном столь же изысканной мозаикой, на мое тело долго, очень долго, будет литься теплая вода, пока оно не очистится. Потом я оденусь во все новое (одежду положено принести с собой) и наконец войду в большой молитвенный зал.

Вокруг меня воцарится тишина. В моем воображении пронесутся образы созвездий, сверхновых звезд и спиральных туманностей, а также образы источников, девственных каменистых пустынь и бескрайних, почти первозданных лесов; понемногу я проникнусь величием космического порядка. Затем я спокойным голосом произнесу следующую формулу,

заблаговременно вызубрив ее на слух: “Ашхаду ан ля иляхэ илля ллах, ва аш-хаду ан Мухаммад расулю-ллах”. Что значит буквально: “Свидетельствую, что нет божества, кроме Бога, и свидетельствую, что Мухаммад – посланник Бога”. И все, с этой минуты я стану мусульманином.

Прием в Сорбонне продлится, разумеется, намного дольше. Редигер, все увереннее настраиваясь на политическую карьеру, был недавно назначен министром иностранных дел, и ему уже некогда исполнять обязанности главы университета; тем не менее он не преминет произнести речь в честь моего торжества (я знал, я ни минуты не сомневался, что он подготовит блестящую речь и с удовольствием произнесет ее). Там будут присутствовать все мои коллеги – новость о моем томе в “Плеяде” быстро разнеслась по университетским кругам, все уже были в курсе и, как водится, считали меня полезным знакомством; они наденут тоги, поскольку не так давно саудовские власти вновь ввели в обращение это парадное облачение.

Наверняка, прежде чем произнести ответную речь (по традиции весьма краткую), я в последний раз подумаю о Мириам. Она будет жить своей жизнью, я знал это, в гораздо более трудных условиях, чем мои нынешние. Я искренне пожелаю ей счастья – пусть и не очень веря в это.

Коктейль будет очень веселым и затянется далеко за полночь.

Несколько месяцев спустя вновь начнутся занятия, и, конечно, появятся студентки, красивые, робкие, в мусульманских платках. Уж не знаю, каким образом информация о репутации преподавателей доходит до студенток, но как-то она всегда доходила, вряд ли со временем тут произошли существенные изменения. Любая из этих девушек, какой бы красоткой она ни слыла, будет горда и счастлива, если я остановлю свой выбор на ней, и почтет за честь разделить со мной ложе. Они будут достойны любви, и мне, со своей стороны, удастся их полюбить.

Как и моему отцу несколько лет назад, мне будет дан второй шанс – шанс начать другую жизнь, никак, по сути, не связанную с предыдущей.

И я ни о чем не пожалею.

Слова благодарности

Я никогда не учился в университете, и всеми своими знаниями об этом учреждении я обязан Агате Новак-Лешевалье, доценту университета Сорбонна – Париж-Х в Нантере. Так что если мои фантазии вписываются в более или менее достоверный контекст – это целиком ее заслуга.

notes

Примечания

1

Перевод Н. Зубкова.

В результате реорганизации Сорбонны в 1970 году были образованы 13 университетов, различающихся по направлениям обучения. В их числе университеты Париж-IV (Париж – Сорбонна) и Париж-III (Новая Сорбонна). *(Здесь и далее – прим перев.)*

Так в немецком литературоведении принято назвать представителей раннего романтизма.

ЮМП (*UMP, Union pour un mouvement populaire*) – Союз за народное движение, самая крупная правоцентристская партия Франции.

УВБ (*DGSI*) – Управление внутренней безопасности.

УЗТ (*DST*) – Управление по защите территорий.

ЦСВБ (*DCRI*) – Центральная служба внутренней безопасности.

УВР (*DGSE*) – Управление внешней разведки.

Агреже – ученая степень во Франции, дающая право преподавать в средней и высшей школе.

10

Сайт знакомств.

Рено Камю – французский писатель, придерживающийся крайне правых взглядов; *Флориан Филиппо* – вице-председатель Национального фронта.

ЮДИ (*UDI, LUnion des democrates et independants*) – Союз демократов и независимых, французское центристское политическое объединение, созданное в 2012 году, в его состав входят девять независимых партий.

Жюстен Бриду – вымышленный персонаж, лицо торговой марки колбасных изделий, в частности, колбасы “Пастуший посох”.

Здесь и далее поэма Ш. Пеги “Ева” цитируется в переводе Н. А. Струве.

“Аргус” (*largus.fr*) – сайт продаж подержанных автомобилей.

Левый фронт – союз французских левых партий, созданный для участия в выборах в Европейский парламент 2009 года.

Пьер Московией – французский политик-социалист, с 2004 года вице-президент Европейского парламента, с 2014-го европейский комиссар по экономике и финансовым делам.

“Библиотека Плеяды” – престижная книжная серия, представляющая классиков; выпускается издательством “Галлимар”.

Перевод В. А. Флеровой.